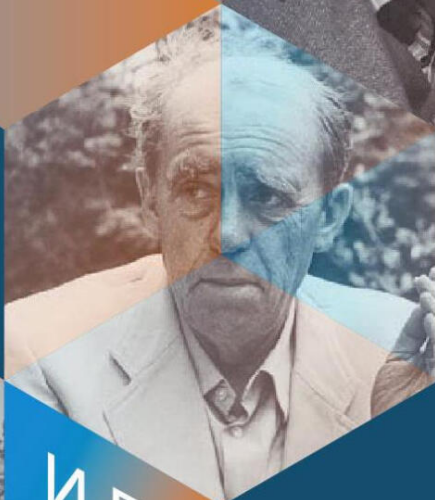


ИРИНА МЛЕЧИНА

РАСЧЕТ С ПРОШЛЫМ

НАЦИЗМ, ВОЙНА



И ЛИТЕРАТУРА

Ирина Млечина

**Расчет с прошлым. Нацизм,
война и литература**

ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ"

2021

УДК 821.112.2.0

ББК 83.3(4)

Млечина И.

Расчет с прошлым. Нацизм, война и литература / И. Млечина —
ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2021

ISBN 978-5-6046512-0-9

70-е годы, Западный Берлин. И. Млечина - молодая журналистка «Литературной газеты»; германист и литературовед, - едет в ФРГ, где встречается со многими западногерманскими писателями, редакторами известных европейских изданий и видными политическими деятелями. Позднее наиболее яркие впечатления от этих встреч лягут в основу данной книги. Но не только. Значительную часть своей работы автор посвятила исследованию произведений немецких писателей-романистов XX века - Г. Бёлля, Г. Грасса, А. Андерша, З. Ленца, М. Вальзера, Г. Э. Носсака и др., - основные мотивы которых - война и вина, нацизм и индивидуальная ответственность, выбор человека, равнодушие и расплата. Предупреждая о «роковой опасности» идей расового превосходства и насильственных механизмах тоталитарной власти, «превращающих человека сначала в «попутчика», а затем в соучастника кровавых преступлений», о катастрофических последствиях «слепой веры в догмы и утопии» и бездумного выполнения «приказов», автор приходит к выводу, что долг каждого человека подвергать критическому осмыслению любое слово или действие, навязанное извне, и принимать индивидуальное решение, противостоящее насилию, чем указывает на вполне четкую и страшную параллель с современностью. Лейтмотивом книги вполне могут послужить слова Г. Бёлля: «...человек существует не только для того, чтобы им управляли». Рекомендуется к прочтению всем, особенно молодому поколению.

УДК 821.112.2.0

ББК 83.3(4)

ISBN 978-5-6046512-0-9

© Млечина И., 2021

© ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2021

Содержание

Встречи и впечатления	6
До и после крушения Третьего рейха	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ирина Млечина

Расчет с прошлым. Нацизм, война и литература

Встречи и впечатления

Летом 1967 года я попросила Олега Прудкова, редактора международного отдела «Литературной газеты», где я тогда работала, послать меня на Франкфуртскую книжную ярмарку. Мне ужасно хотелось побывать там: это была редкостная возможность познакомиться с писателями, разжиться книгами, окунуться в немецкую книжную стихию. Не говоря уже о том, что я просто мечтала побывать в ФРГ. Но это было так сложно, что я и думать не решалась. А вот книжная ярмарка была хорошим поводом.

Олег Прудков задумчиво пообещал поговорить с начальством. Все вопросы, связанные с зарубежными поездками, решал первый зам главного редактора, и я полагала, что могу рассчитывать на положительный ответ. Я не просто занималась немецкой литературой, я была аспиранткой, писала диссертацию о романе ФРГ, и уж если кому ехать – то почему не мне? Выяснилось, что первый зам рассуждал примерно так же, поэтому был за.

Франкфуртская ярмарка проходит в начале октября, а оформлять поездку надо загодя: за несколько месяцев послать характеристику, обоснование, план и бог знает что еще – да, так называемую «объективку», а по существу анкету. Все документы были отправлены в ЦК КПСС, и я волновалась: пустят – не пустят.

И вдруг первому заму звонит человек по фамилии Шумейко, но не тот, который потом рулил при Ельцине, а совсем другой, работавший в 60-е годы заведующим сектором в международном отделе ЦК. Он и говорит первому заму: «Слушай, ты вот тут какую-то сотрудницу в ФРГ посылаешь, да, Млечину, а кто такая, зачем, почему? Молодая женщина, в капстранах не была, опыта не имеет. А вдруг провокация? Как она себя поведет? Ты в ней уверен? Пошли ее лучше в ГДР». «В ГДР она уже была, – ответил первый зам. – А мы хотим, чтобы она дала серию статей о культуре ФРГ. Все-таки сейчас отношения понемногу улучшаются, надо что-то толковое про западных немцев написать». «И все же боязно, – честно признался Шумейко. – Ты еще подумай». На этом разговор был окончен.

Первый зам стал думать. И придумал вот что. Он собирался и сам зимой поехать в эту страну и даже уже составил группу, взял себе в компаньоны историка-германиста Даниила Мельникова, профессора и крупного знатока ФРГ; другого попутчика ему скорее навязали, точнее – «попросили» взять с собой – это был Михаил Сагателян, который в ту пору работал в ЦК, но вообще-то постоянным и основным местом его службы было совсем другое учреждение – на Лубянке. В качестве сотрудника этого учреждения он работал позднее в Берлине, то есть жил в «столице ГДР», а на работу ездил в «витрину западного мира», «самостоятельную политическую единицу» Западный Берлин.

Так вот, эта компания из трех человек должна была зимой 1967 года (точнее – в декабре) отправиться «наводить мосты». Это была первая журналистская группа, отправлявшаяся в длительную, почти месячную командировку на берега Рейна.

К тому времени Вилли Брандт, социал-демократ и бывший эмигрант, по духу человек либеральный и толерантный, стал министром иностранных дел в правительстве «Большой коалиции», состоявшей из ХДС/ХСС и СДПГ. Ближайшим сотрудником и соратником Брандта был Эгон Бар, сыгравший значительную роль в улучшении отношений между Советским Союзом и ФРГ.

«Знаешь что, – сказал первый зам Виталий Сырокомский Шумейко по телефону, – возьму-ка я Млечину в нашу группу. Франкфуртскую ярмарку она, конечно, пропустит, зато нам пригодится – она классный знаток языка и литературы, а Сагателян, кстати, по-немецки ни бум-бум».

«Ну, это дело твое, решай сам, – благодушно сказал Шумейко. – Ответственность на тебе. Нам лишь бы она одна не ехала».

В итоге во Франкфурт я в октябре не попала, зато отправилась в декабре в составе журналистской бригады по городам ФРГ.

Итак, поезд тронулся, провожающие остались на перроне, потом и вовсе исчезли из виду. На следующий вечер мы прибыли в Берлин. Столица ГДР встречала нас плохо освещенными улицами, промозглым холодным воздухом, а на вокзале царила обычная вокзальная суета.

«А между тем в нескольких минутах езды отсюда сверкает рекламными огнями Западный Берлин», – иронически заметил Тэк (Даниил Мельников, которого все его друзья звали почему-то «Тэк» – с детства, которое прошло в Германии), привыкший курсировать между двумя германскими государствами, не забывая наведаться и в «самостоятельную политическую единицу», – привилегия, доступная в те годы крохотной горстке людей.

Тэк был одним из немногих, для кого эти поездки, особенно, конечно, в ГДР, были почти рутиной. Он работал в Институте мировой экономики и международных отношений и был одной из ключевых фигур в вопросах, касающихся Германии, писал умные записки для цеховского начальства. Как же ему было не ездить – как говорили тогда – в оба германских государства?

Но, спрашивается, зачем мы, отправляясь в ФРГ, вылезали на перроне Восточного Берлина, где нас уже встречали какие-то люди, в том числе из советского посольства? Дело было в том, что по обычаю тех лет полагалось – во всяком случае, начальствующим идеологическим работникам, – прежде чем отправиться в логово империализма, «посоветоваться» с товарищами из ГДР, хотя бы для видимости посвятив их в свои планы, и потом, по возвращении, хотя бы для видимости отчитаться о проделанной работе.

Это предусматривалось межпартийным этикетом, правилами совместной борьбы за мир и против происков империализма.

Итак, вечером мы прибыли в считавшуюся тогда фешенебельной – главным образом, благодаря своему центральному расположению – гостиницу «Унтер ден Линден». Утром мужчины, оставив меня на свободе, отправились по своим важным делам в советское посольство к Абрагимову, который в те годы в Берлине был, что называется, и царь и бог – ГДР еще не была признана мировым сообществом (кроме соцстран), и «большой брат» решал здесь если не все, то очень многое. Во всяком случае, его побаивались и к нему прислушивались. Абрагимов, славившийся своей властью и резкостью, чувствовал себя хозяином не только в огромном особняке посольства на Унтер ден Линден, но и, похоже, во всей ГДР.

После Абрагимова, и по его совету, они побывали, кажется, в ЦК СЕПГ и тоже беседовали с какими-то местными шишками. После чего можно было со спокойной совестью на следующее утро, перебравшись на западноберлинский аэродром Темпельхоф, лететь в Гамбург – первый пункт на нашей «дорожной карте».

В Гамбурге мы первым делом спросили встречавшего нас немца, не посоветует ли тот гостиницу попроще и подешевле. Немец посмотрел на нас с плохо скрываемым изумлением. Мы решили, что изумление вызвала сама постановка задачи: «попроще и подешевле». Как выяснилось позднее, уже в самом конце командировки, мы на самом деле были гостями Ведомства по печати при Федеральном правительстве и государственной организации под названием «Интернационес», которая занимается приемом иностранных гостей федерального уровня. Это означало, что мы могли жить в лучших отелях за счет правительства ФРГ, ездить на такси за счет «Интернационес» и т. д. Но в силу необъяснимого стечения обстоя-

тельств в посольстве ФРГ в Москве, где перед поездкой нас принимал тогдашний посол, чрезвычайно любезный и расположенный к России человек, нас об этом не уведомили.

Мы прожили почти месяц, перемещаясь по стране и останавливаясь в разных отелях исключительно на свои скромные средства – «командировочные». Встречавший немец, очевидно, понял гостей так, что они не хотят пользоваться услугами государственных учреждений, на что у них, возможно, есть свои причины – ведь Россия – это такая таинственная страна. И, как подобает вышколенному чиновнику, возражать не стал, а привез нас в захудалую гостиницу.

Из Гамбурга мы поехали в Кельн и Бонн, и основные политические встречи происходили, конечно, в Бонне. Тогда мы впервые встретились с Вилли Брандтом, министром иностранных дел и будущим Федеральным канцлером, и он абсолютно покорила меня. Во время беседы он спросил гостей, кто что будет пить.

И первым делом обратился ко мне. «Я буду то же, что вы, г-н министр». «Я буду коньяк», – улыбнулся он. (Потом Мельников, который уже до этого был знаком с Брандтом, высказывался в том духе, что Брандт, мол, очень непрочь выпить и иногда, по мнению Тэка, чересчур.) «Двойной коньяк даме», – сказал Вилли Брандт человеку, который приносил кофе и прочие напитки. «О что вы, г-н министр, – испугалась я. – Я и одинарный-то с трудом осилю» (я никогда не была сильна по части спиртных напитков). Брандт засмеялся. «Сейчас вы узнаете, что такое «двойной коньяк» по-немецки», – сказал он. Мне принесли большую коньячную рюмку, на дне которой виднелось грамм тридцать-сорок коньяка. «Ну, это вы, надо полагать, осилите! – весело сказал министр. – Это вам не ваши русские пол-литра». Последние слова он, с невыразимо приятным акцентом, произнес по-русски. Я «осилила» с паузами, и он одобритительно посмотрел на меня, сказав: «Еще?» Я покачала головой.

Потом мы стали обсуждать советско-западногерманские отношения. Присутствовавший при разговоре и активно в нем участвовавший Эгон Бар показался мне умнейшим и в высшей степени компетентным человеком, к тому же весьма располагающим к себе.

У каждого из четверых гостей сразу определились, как-то сами по себе, некие социальные роли, хотя они, разумеется, ни о чем таком не договаривались. Первый зам вообще не выносил никаких предварительных сценариев, он был человек спонтанный, с быстрой реакцией, ему нравилось, будучи представителем «неофициальной» прессы, задавать неожиданные вопросы, которые его интересовали. Он часто рисковал – это вообще было его свойство, и не соблюдал «правила игры». Но с Брандтом-то их как раз можно было не соблюдать – он сам когда-то был журналистом, к тому же был человеком очень живым и совершенно нормально воспринимал любые вопросы. Вот хуже было нарушать «правила игры», когда имеешь дело с представителями власти у себя на родине.

Первый зам задавал лобовые вопросы: «А почему бы вам, г-н министр, не направить усилия на улучшение советско-западногерманских отношений? Ну, я имею в виду, что мешает дружбе наших стран? Ведь вы многое могли бы сделать!» Ну и в таком духе. Вилли Брандт, хоть и был на дипломатическом посту, по складу, как мне показалось, тоже был человеком спонтанным и в чем-то простодушным.

Что он простодушен, показала позднее ужасающая история с засланным к нему шпионом из ГДР Гюнтером Гийомом, который вместе с женой сумел добраться до высших кресел в секретариате Брандта, в результате чего тот, будучи человеком чести, был вынужден подать в отставку с поста Федерального канцлера. Это был скандал европейского и даже мирового уровня. В начале 2000-х, по телевидению я, уже не в первый раз, увидела человека, который это все организовал, – Маркуса Вольфа, главного руководителя разведки ГДР.

Он чем-то походил на своего отца, известного антифашистского писателя Фридриха Вольфа (я перевела одну его пьесу). У этого Маркуса Вольфа был интеллигентный облик, умное и даже симпатичное лицо. Он был главой разведки, считавшейся одной из самых эффек-

тивных в мире. Я смотрела на него не только без отвращения, но даже с некоторой симпатией – он выглядел и говорил как разумный, хотя, наверное, и жесткий человек. Казалось, я должна была бы относиться к нему как минимум с неприязнью – из-за него ушел со своего поста один из самых замечательных политиков современности – Вилли Брандт, к которому я испытывала и личную симпатию. Как разобраться во всем этом безумном историческом клубке, в этом море чувств и воспоминаний, как справиться с этим потоком закипающих от несовместимости эмоций и раздумий? Ответа я не знаю...

Итак, первый зам задавал спонтанные, одновременно резкие и наивные вопросы, которые у меня вызвали легкую панику, тем более что я как раз это все переводила на немецкий, хотя у Брандта и Бара был свой синхронист, который переводил на русский. Переводя вопросы первого зама, я пыталась – как делала это и позднее и почти всегда, когда выступала в роли его переводчика – внести в немецкий текст элемент деликатности, смягчить, чуть-чуть подкорректировать, не меняя смысла. Конечно, это мгновенно заметил Тэк, божественно говоривший по-немецки, а немецкий переводчик ничего такого не уловил. Зато Тэк одобрительно подмигнул мне – мол, правильно, продолжай в том же духе. Но я совершила свой небольшой подлог как бы непреднамеренно – просто так получалось само собой.

Мельников-Тэк выполнял роль главного эксперта по вопросам советско-западногерманских отношений, каковым он, впрочем, и был, независимо ни от какой роли. Его вопросы были солидны, точны, лишены всякой импровизации и строились на строгой основе исторической реальности.

Роль вежливого злодея выполнял Сагателян. Он разговаривал только по-английски – благо, много лет прожил в Америке, – называл себя Майкл Сэгэтэлиэн с ударением на третьем слоге. С дотошностью, присущей людям его профессии, он пытался незаметно, с не сходящей с лица улыбочкой, выловить хоть какую-нибудь дополнительную информацию – ему же отчет надо было писать. Но едва ли он смог в тот раз особенно отличиться на Лубянке, потому что Брандт, будучи человеком открытым, отвечал ему по-английски совершенно то же самое, что остальным по-немецки, то есть не лукавил, не юлил, не хитрил, а говорил то, что думал и как понимал существо обсуждаемого вопроса.

С Эгоном Баром я встречалась всего один раз, тогда, в 1967 году, хотя позднее он не раз бывал в Москве, но запомнила его удивительно умное интеллигентное лицо, его корректность и желание способствовать тому, чтобы разговор ни разу не вышел за рамки дружеского взаимного благорасположения. И по сути, он, как и Брандт, уже тогда стремился укрепить шаткие мостки между двумя странами.

Во время поездки мы посетили самые популярные и в то же время солидные печатные издания – «Штерн», «Шпигель», «Цайт». «Штерн» был тогда самым шикарным глянцевым журналом с потрясающими фотографиями и чрезвычайно интересными политически и социально ориентированными текстами. Это была журналистика высочайшего класса. В приемной Генри Наннена, создателя и многолетнего главного редактора, сидело шесть секретарш, и все они работали, никто не трепался по телефону, не подмазывал губы и не делал маникюр. Не было и советского: «Валь, ты вчера по телевизору фильм видела? Интересный, правда!» Не было атмосферы советского учреждения, где женщины, слегка опоздав, первым делом бежали не на рабочее место, а в туалет, чтобы «дорисовать» лицо, привести в порядок прическу, сменить обувь и пр. Здесь царил жесткий дух «капиталистической эксплуатации», то есть каждый исправно делал свое дело.

Генри Наннен, время от времени вызывал к себе главную секретаршу по имени Уте, давал ей какое-то задание и при этом ласково хлопал по заднему месту, что чрезвычайно меня удивило, потому что выглядело это, как кадр из плохого фильма об ужасной капиталистической действительности, где унижают женщин. Но Уте производила очень деловое и совершенно не униженное впечатление.

В «Штерне» мне больше всего понравился сам Наннен, огромный, широкоплечий, загорелый блондин с проседью, яхтсмен и вообще настоящий морской волк. Я любила этот журнал и одна из очень немногих в Москве имела возможность его читать. И не потому, что «Литературная газета» с ее огромными тиражами, приносящая большой доход, обладала изрядными денежными средствами. Каждым рублем все равно можно было распорядиться только с разрешения ЦК или Союза писателей. Главное, конечно, было не в этом – при любых деньгах в Москве нельзя было купить никакого иностранного журнала, кроме тех, что выходили в соцстранах, да и то не все. Но главный редактор «ЛГ» Александр Чаковский и его первый зам Виталий Сырокомский на пару «пробили» в ЦК право выписывать иностранную прессу, как «Правда» и «Известия».

Но и действительно, как могла серьезная газета с большим международным отделом обходиться без главных мировых изданий? В «ЛГ» был «кабинет иностранной печати», который вечером запирался на замок и опечатывался специальной пломбой. Коллеги из международного отдела любили пошутить по поводу того, что иностранные агенты могут ночью ненароком забраться в этот кабинет и прочитать – или даже украсть! – иностранную прессу. Как же здесь обойтись без специальных запоров!

После «Штерна» мы побывали в редакции «Шпигеля». Это было, по терминологии факультета журналистики МГУ, «качественное» издание, в отличие от «Штерна», который балансировал где-то на грани, ибо наряду с серьезными статьями там встречались полубульварные истории и снимки полуобнаженных красавиц. В 60-е годы XX века ни одно издание с приличной репутацией не позволяло себе печатать совершенно обнаженную натуру, как в «Плейбое». Даже считавшаяся абсолютно бульварной «Бильд» публиковала – по нынешним временам – очень целомудренные фотографии. Представить себе, что когда-нибудь российские издания переплюнут по этой части западные, невозможно было даже в самом бредовом сне. Ведь в Советском Союзе секса, как известно, не было.

«Шпигель», на мой взгляд, был лучшим журналом в мире – по информированности, по богатству досье, позволяющему в кратчайший срок дать весь «бэкграунд» события или известной персоны. Ведь интернета тогда не было. А уж о качестве публикуемых материалов и говорить не приходится. К тому же информация здесь всегда была отделена от мнения.

Я с трепетом вступила в чертоги «Шпигеля», который к тому времени изучила досконально, знала все рубрики, всех редакторов, ответственных за те или иные разделы, и вообще прочитывала от корки до корки – это был для меня главный источник злой независимой информации. Разумеется, я ни в каких разговорах, кроме домашних, да еще с первым замом, таких вещей не говорила и своего восхищения «Шпигелем» не обнародовала. К тому же в моих глазах у «Шпигеля» был достойный соперник – еженедельная газета «Ди Цайт», которую я любила, быть может, еще более нежною любовью, потому что там было обширное и потрясающее по качеству литературное приложение.

Кроме того, восхищение вызывала графиня Марион Дёнхоф, руководившая этим изданием в шелковых перчатках и ежовых рукавицах одновременно. Я знала, что ее близкий человек, участник антигитлеровского заговора 20 июля 1944 года, был казнен, а сама она подверглась допросам в гестапо, и также представляла себе, как юная графиня верхом мчалась из Восточной Пруссии на Запад от наступающих советских войск.

Но это было давно, а потом я с веселым изумлением наблюдала, как графиня в Москве, на спектакле по пьесе Шатрова «Шестое июля», в едином порыве со зрительным залом, стоя пела «Интернационал». С графиней Дёнхоф я встречалась несколько раз, брала у нее интервью, беседовала с ней «за жизнь» и находила ее неизменно достойной восхищения и уважения.

Но однако следует вернуться к «Шпигелю». Там нас встречал сам Рудольф Аугштайн, знаменитый главный редактор, который еще в 50-е годы имел смелость вступить в схватку с могущественным Францем Йозефом Штраусом и одержать моральную победу, завоевав сим-

патии, как тогда говорили, «прогрессивной общественности». Он продемонстрировал редкое гражданское и просто человеческое мужество. Кстати, я, зная все перипетии этой истории, представляла себе Штрауса настоящим монстром, что тоже оказалось не так.

Посещение «Шпигеля» стало для меня событием вдвойне, потому что в тот день я пережила своего рода маленький триумф. В ходе беседы с Аугштайном сначала речь шла, как водится, о политике, ибо «Шпигель» во многом именно политический еженедельник, потом перешли на литературу. Тут я могла развернуться. Как-никак я писала диссертацию о романе ФРГ, внимательно следила за всеми литературными и общественными дискуссиями, все читала, знала всех сколько-нибудь значимых авторов, и меня трудно было переплюнуть по степени осведомленности в «литературных делах», как говаривал Гейне.

«А вот такого-то вы читали? – спрашивали Аугштайн и его сотрудники. – Между прочим, рекомендуем, очень интересный автор». Они рекомендуют! Да я уже сама его открыла и даже о нем в «Иностранной литературе» написала. И об этом тоже, и о том! Да, я знаю всех, ну почти всех, или если точнее – очень многих. Я явно знала больше, чем сотрудники «Шпигеля» – все-таки это был не литературный журнал, хотя и писал обо всех важных событиях, явлениях и именах в литературе.

И вдруг Рудольф Аугштайн произносит, как теперь говорят, судьбоносную фразу: «Фрау Ирина, а как вы отнесетесь, если я вот сейчас, прямо сию минуту, сделаю вам предложение стать штатным работником «Шпигеля» по проблемам современной немецкой литературы? Ну, для начала, скажем, на год! Сейчас же и контракт подпишем. Как отнесется ваш шеф? – и он озорно посмотрел на первого зама. – Надеюсь, он не станет возражать, хотя я, честно говоря, не отдал бы такой ценный кадр!»

У меня от волнения забилося сердце. Господи, как бы мне хотелось поработать в «Шпигеле»! Но я понимала, что это невозможно: какая в те суровые годы работа по контракту за границей, если ты не сотрудник МИДа, Лубянки и еще очень узкого круга учреждений подобного свойства.

Контракт с идеологическим противником? Да вы что, спятили? А что скажут те же самые КГБ, ЦК и прочие? А семья? Да и первому заму несдобровать, если он сейчас разрешит, а потом в Москве ему дадут по башке! Если меня одну даже в короткую командировку в ФРГ не пустили!

«Я вам очень благодарна, г-н Аугштайн, – сказала я. – Это для меня большая честь – получить приглашение на работу в такой замечательный журнал. Но я вынуждена сказать «нет»: во-первых, у меня семья...» «Семью вы, разумеется, привезете с собой», – поспешно перебил меня главный редактор. «Нет, – снова повторила я. – Понимаете, у моего мужа очень интересная работа, и он вряд ли захочет сменить ее на какую-нибудь другую. А сын не говорит по-немецки, и пока он будет его изучать, уже надо будет возвращаться...» Это был уж совсем глупый аргумент, потому что когда же учиться иностранному языку, как не в детстве? Я это понимала, и все понимали. «Ну, и главное, у меня просто другие жизненные планы... Может быть, когда-нибудь в другой раз», – краснея от лжи и огорчения, сказала я. Аугштайн вежливо кивнул, на этом данная тема была исчерпана, и мы вновь перешли к политическим проблемам...

Во время поездки мы как-то вычитали в газете, что в городе Золингене должна состояться встреча местных неонацистов. Мы пришли в указанную пивную и несколько часов слушали бред старых и молодых неонаци.

Сейчас, когда я листаю свои старые записи об этом вечере и то, что мы вчетвером опубликовали в «Литературной газете» под рубрикой «Зима на Рейне» (пять или шесть больших статей), я понимаю, как невинно выглядят речи золингенских пикейных жилетов на фоне того, что стало звучать позднее в Европе – притом, не только в ФРГ и в «новых немецких землях» (то есть бывшей ГДР), но и во Франции на митингах Ле Пена или в Австрии на выступлениях Йорга Хайдера. Тогда немецкие «неисправимые» еще вели себя весьма умеренно – не так давно

кончилась война, они изо всех сил старались дистанцироваться от Гитлера, заявляя, что это он один вверг в пучину катастрофы немецкий народ, а сами они только выполняли приказы и желали самого лучшего для Германии. Они были за порядок, за чистоту, за немцев! Что плохого в патриотизме? – вопрошали они. Впрочем, кажется, даже они этого слова не решились произнести – хотя по смыслу речь шла именно об оскорбленном национальном чувстве. Они уже успели забыть, как обошлись с национальными чувствами других народов и к чему это привело...

Кто-то из высокопоставленных собеседников сказал нам, полушутя, что у политического бомонда ФРГ ныне в моде визиты к гадалкам и составление гороскопов, в том числе политических. (Ну, гороскопы в толстых глянцевах журналах я и сама исправно читала, и все мои литгазетовские приятельницы прибегали, чтобы я ознакомила их с будущим на неделю.) Самой большой популярностью среди этого самого бомонда пользовалась, как сообщили те же ироничные собеседники, прорицательница по имени Бухела – к ней, мол, и сам Штраус наведывается. Руководитель советской делегации, будучи, как отмечалось, человеком азартным, немедленно заявил, что тоже хочет к фрау Бухеле и попросил немецких хозяев организовать визит. «Как, всех четверых?» – испуганно спросили хозяева. «Нет, двоих, – не моргнув глазом, ответил первый зам. – Я и фрау Ирина в качестве моей переводчицы».

Настоящее имя гадалки было Маргарете Консантье, но публике она была известна как фрау Бухела. В ходе беседы она сообщила, что почти вся ее цыганская родня погибла в немецком концлагере. Визит к ней напоминал сцену из детской театральной сказки. Городок Ремаген по соседству с Бонном тоже имел сказочно-сонный вид. Гости нажали кнопку звонка на калитке, и в тот же момент в домике на втором этаже приоткрылось освещенное окно – отодвинули шторы и выглянула женщина. Вот это уж точно напоминало театральный задник, особенно освещенное оконце на темном фасаде.

Женщина, выглянувшая из окошка, кажется, была раздражена: «Сегодня неприемный день!» – крикнула она. Пришлось громко прокричать, что ей звонили из федерального ведомства печати. Калитка с дистанционным управлением немедленно открылась. Нас попросили подождать в маленькой приемной. Со второго этажа доносились звуки скрипки, наигрывавшей цыганские мелодии. Сразу стало как-то по-домашнему уютно. Прошло несколько минут и нас пригласили в кабинет знаменитой прорицательницы. Я воспринимала происходящее как нечто абсолютно нереальное: где мне было знать, что уже лет через двадцать, а особенно начиная с 90-х годов XX века, в России начнется бум астрологов, гадалок, предсказателей, составителей гороскопов, «бабушек Надь и Кать», отводящих и наводящих порчу, привораживающих и завораживающих неверных мужей и любовников.

Кабинет фрау Бухелы был обставлен, как антикварный салон. Нам не без подтекста объяснили: все, что украшает это помещение, – подарки клиентов. Кстати, после беседы фрау Бухела, несмотря на твердый уговор с федеральным ведомством печати не требовать гонорара, не забыла уведомить гостей, что наговорила на пару тысяч марок. Ну, гости тоже не хотели уж совсем упасть в грязь лицом и преподнесли ей джентльменский набор из нескольких бутылок самой лучшей русской водки и такого же количества банок отличной черной икры. Гадалка благосклонно приняла дары, не забыв все же отметить, что беседовала даром – она явно дорожила добрыми отношениями с властями. В доме нам продемонстрировали, помимо антикварных изделий разной ценности, двух огромных псов и обезьянку-резус.

Хозяйка показала досье сделанных ею политических прогнозов: в 1953 г. предсказала, что Аденауэр победит на выборах, поедет в Москву и установит дипломатические отношения с СССР. В начале 1966-го напроорочила создание «Большой коалиции» (ее гости как раз эту коалицию и застали). До того она предсказала отставку канцлера Эрхарда. Потом пообещала, что войны не будет, атомную бомбу никто никуда не сбросит, НАТО через какое-то время развалится, Кизингера (федерального канцлера времен «Большой коалиции») ожидают труд-

ные времена, президента США Джонсона – тоже. Она также пообещала, что рак победят в 1975-1980-м годах, а вот на Луну люди раньше 1985 года не доберутся.

Когда через какое-то время гости сравнивали представления о будущем фрау Бухелы и министра Штрауса, выяснилось, что он оказался куда лучшим пророком – во всяком случае, во всем, что касалось Германии и Европы. Когда гости во время встречи со Штраусом шутливо упомянули, что Бухела предсказывает ему пост федерального канцлера, он с улыбкой заметил: «Ну, эта женщина всегда меня терпеть не могла».

Из главных политических деятелей ФРГ того времени мне, помимо Вилли Брандта, больше всех запомнился Франц Йозеф Штраус, ничем не напоминавший того зловердного монстра, каким он представал со страниц советской прессы.

Он был дружелюбен, остроумен, у него было энергичное, волевое лицо. Позднее, уже лет через десять, я вместе с моим другом Львом Гинзбургом, выдающимся поэтом-переводчиком, снова оказавшись в ФРГ, побывала на митинге, где выступал Штраус. Тут мне стало понятно, что такое харизматический лидер и какое завораживающее действие он оказывает на толпу. Площадь, где он выступал, была заполнена людьми, вокруг неистовствовали, аплодировали, выкрикивали какие-то восторженные слова поклонники оратора, и это «заводило» его еще больше. Сцена, увы, напоминала кадры из очень популярного некогда в Советском Союзе фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Не потому, что были похожи толпы или, тем более, ораторы, вся сценерия была иная. И вообще, разумеется, никаких сравнений между Гитлером и Штраусом, упаси Боже, – времена были другие, и деятели совершенно разные. И уж меньше всего хочется намекнуть, что Штраус в своей политике и риторике подражал Гитлеру. Похоже было воздействие на беснующуюся толпу.

На том митинге Штраус не понравился ни мне, ни Льву Гинзбургу, который тоже кое-что понимал в немецкой истории и в той самой типологии эмоциональных реакций на харизматических лидеров. Тогда я как-то особенно явственно ощутила опасность этих политических харизматиков...

Но в 1967 году сидевший перед нами господин с выразительными глазами и обаятельной улыбкой производил самое благоприятное впечатление, несмотря на то, что я знала о негативном отношении к нему со стороны большинства тех людей, чьим мнением я дорожила – хотя бы того же Аугштайна. Все демократически и антифашистски настроенные писатели, которых я ценила и любила, в той или иной степени придерживались «левых» взглядов – слово это приходится брать в кавычки, потому что деятельность и взгляды тех «левых» имели совершенно иной смысл, нежели у тех, кого именуют «левыми» в современной России. Так же и западно-германские «правые» тех лет не имеют ничего общего с нынешними российскими «правыми». Кстати, эту путаницу между «нашими» и «ихними» левыми и правыми я ощутила еще во времена чехословацких событий 1968 года – те, кто по советской терминологии должен был бы считаться «левым», там был «правым» и наоборот. Будучи «леваками», мои любимые писатели никак не могли испытывать симпатий к Штраусу, который был самым настоящим «правым». По своему весу в политической жизни ФРГ он, конечно, был чем-то гораздо более значительным, чем министр финансов. Правда, на вопрос советских визитеров о его особой роли и влиянии, он все с той же улыбкой отвечал, что они – «жертвы легенды».

В разговоре он не скрывал, что является сторонником «сильной и единой Европы» (что тогда в глазах тех же визитеров являлось страшным криминалом, а для кое-кого остается таковым и сегодня). Возможно, он рассчитывал на то, что первую скрипку в этом оркестре будет играть ФРГ, а точнее объединенная Германия, стремления к которой он также не скрывал, чем опять же вызвал тихое возмущение своих посетителей. Мысль об объединенной Германии его собеседникам казалась крамольной, а ему – естественной.

Многие идеи, которые он излагал в своем кабинете, перед этим были сформулированы в его книге «Проект для Европы», по экземпляру которой, вместе с альбомом карикатур на него,

Штраус подарил, надписав, каждому из четверых советских журналистов. На нас тогда огромное впечатление произвел именно альбом карикатур. Попробовал бы кто в Советском Союзе опубликовать хоть одну, самую невинную, карикатуру на кого-либо из правящей верхушки!

В гостинице я набросилась на «Проект для Европы». Автор писал об объединенной Европе, простирающейся от Атлантики до Буга и Черного моря. Еще он писал нечто, казавшееся в те годы совершенно кощунственным: «Нам надо было бы подумать о том, что Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния и т. д. точно так же принадлежат к Европе, как Швейцария, Голландия, Бельгия». Необходимо, продолжал он, «в течение длительного процесса, путем воздействия на эти страны и в ходе жестких переговоров с Москвой добиваться того, чтобы эти страны снова стали составной частью Европы...» История показала, что Штраус был неплохим прорицателем...

Небольшое лирическое отступление. Через несколько лет после поездки в ФРГ, в начале 1970-х раздался у нас на литгазетовской даче в Переделкино телефонный звонок.

Звонил Сергей Колосов, известный кинорежиссер. Все тогда смотрели его первые советские сериалы – «Вызываем огонь на себя», «Операция «Трест». И вот он говорит моему мужу, Виталию Сырокомскому, что наш спутник по поездке Михаил Сагателян написал об этом путешествии сценарий под названием «Командировка в Бонн». Далее он сказал совсем уж удивительные вещи: главную мужскую роль, прототипом которой являлся вышеозначенный Виталий Сырокомский, будет играть самый знаменитый и обожаемый актер Вячеслав Тихонов, он же Штирлиц. А главную женскую роль, «за которой стоит Ирина Владимировна», поручена жене Колосова Людмиле Касаткиной. Невозможно описать изумление, которое испытали «прототипы», по очереди внушавшие Колосову по телефону, что ничего особенного в их поездке не было и сами они совершенно не подходят на роль героев. «Вы убедитесь в нашем принципиальном антигероизме», – сказал в трубку Виталий Сырокомский. Колосов вежливо посмеялся и сказал, что, если мы не возражаем, завтра они приедут в гости к «прототипам», чтобы «войти в образ».

И действительно, на следующий день к нам приехали Сергей Колосов, Людмила Касаткина, Вячеслав Тихонов и Иван Лапиков. Все разглядывали друг друга с большим интересом. Потом мы встречались еще не раз, в том числе в доме Колосова и Касаткиной, где были Тихонов с женой, тот же Лапиков и известный шахматист Лев Полугаевский, который оказался очень остроумным человеком.

Но самыми замечательными собеседниками, веселыми и полными юмора, были Колосов и его жена. Людмила Касаткина своим шармом могла превратить любой пустяк в увлекательную новеллу и, когда была в ударе, рассказывала смешно и азартно.

Так, благодаря графоманскому всплеску Михаила Сагателяна, решившего превратить нашу поездку в киносценарий (да еще с трагическим концом – героиня-журналистка погибает в финале от руки террориста где-то на Ближнем Востоке), мы познакомились с такими выдающимися актерами и очаровательными людьми. Но даже им не удалось влить жизнь в слабый сценарий – фильм получился средний...

Начиная с 1967-го, я почти каждый год ездила в ГДР и примерно раз десять-двенадцать на протяжении 70-80-х годов – в ФРГ. Однажды мы почти в полном составе (кроме Сагателяна) поехали в Западный Берлин и дали в газете такую же серию очерков о «витрине свободного мира», как и о ФРГ – в схожей тональности и примерно с тем же охватом материала: политики, предприниматели, деятели культуры, писатели. У меня сохранилась фотография: мы в кабинете правящего бургомистра Западного Берлина Клауса Шютца. Он был без руки – вечное напоминание о роковом для него сражении на Восточном фронте.

Из главных воспоминаний того времени – встреча с Уве Йонзоном, тогда уже очень знаменитым – не только своим трагическим романом «Догадки о Якобе» (о человеке, стиснутом между Западом и Востоком, между ГДР и ФРГ), но и тем, что сначала он сумел уехать из ГДР,

а потом каким-то образом организовал самый настоящий подкоп, через который в Западный Берлин проникла его возлюбленная, впоследствии жена. Йонзон гостеприимно принимал меня в своей квартире и угощал чаем из серебряных чашек. Позднее он, на вершине своей славы, окончательно разочаровавшись во всех германских государственных образованиях, уехал в Англию, расстался с женой и, страдая от одиночества, впал в депрессию. Стал пить, а потом, как утверждают, покончил с собой. Западногерманская критика писала о нем как об одном из самых выдающихся немецких авторов второй половины XX века. В Советском Союзе о нем почти ничего не писали – только я, единственная из советских критиков встречавшаяся с ним лично, посвятила ему большую главу в академической «Истории немецкой литературы».

В определенном смысле мне повезло: я храню воспоминания о беседах не только с Йонзоном, но и с Гансом Эрихом Носсаком, писателем старшего поколения, пережившим страшную бомбежку Гамбурга в 1943 году и написавшим о ней. С этими двумя авторами, насколько мне известно, не встречался никто из советских германистов. Носсак был очень прямой, жесткий и, как мне показалось, даже злой, но писатель был от Бога. Его роман «Дело Д`Артеза» (позднее переведенный на русский язык) произвел неизгладимое впечатление.

Кажется, я была единственной из советских критиков, кто неоднократно встречался и разговаривал с одним из выдающихся мэтров немецкой литературы – Вольфгангом Кёппеном. О нем я также не раз писала. Оглядываясь назад, я считаю, что встречи и беседы с этими, а также другими замечательными писателями Германии – Генрихом Бёллем, Мартином Вальзером, Зигфридом Ленцем, Карлом Кроловом, Альфредом Андершем, Вальтером Йенсом и многими другими – придали значительный смысл моему собственному существованию и очень многому научили.

В 1973 году Союз писателей, через Иностранную комиссию, пригласил меня поехать в делегации советских литераторов на Дни культуры СССР в Дортмунд. Во всей Германии происходили какие-то массовые мероприятия: выступали советские ансамбли песни и пляски, театральные коллективы, в университетах организовывались семинары, открывались художественные выставки и т. д.

Союз писателей послал одного крупного (по тогдашним меркам) русского поэта (Михаила Луконина), одного «национала» – представителя республик (Рамза Бабаджана из Узбекистана), одного сотрудника самого Союза (Кима Селихова, который был не просто заместителем секретаря Союза писателей Юрия Верченко, но и, по слухам, обладал второй, еще более важной профессией, название каковой в те времена обозначалось не столько лексически, сколько с помощью жеста: легкого постукивания по плечу, что означало, видимо, наличие определенных погон).

Я должна была выступать в двойной роли: с докладом о немецкой литературе в СССР и, конечно, как переводчица. Семинар проходил под руководством профессора Фридриха Деннингхауза из Бохумского университета, который играл немаловажную роль в установлении советско-немецких контактов по линии Рейнско-Вестфальского иностранного общества. В нем активно участвовал и писатель Йозеф Реддинг, который вел часть заседаний; это был обаятельный, добрейший человек, очень расположенный к гостям из России.

На этот семинар, который в течение нескольких дней должен был проходить на загородной вилле под Дортмундом, принадлежащей муниципалитету, записалось много участников, приехавших из всей ФРГ: слависты – студенты и преподаватели, критики, просто люди, интересующиеся Советским Союзом и русской культурой. Они даже заплатили за это – мероприятие было платное, к тому же они оплачивали комнаты и питание на той же вилле. Вилла была чудесная, хотя и с удобствами в коридоре. Вокруг был замечательный парк и чуть дальше – великолепный ухоженный лес с просеками и тропинками.

А немецкая пресса и литература тем временем били в колокола, что дивный германский лес, воспетый романтиками, гибнет от кислотных дождей и скоро от него ничего не останется.

Наверное, и немецкий лес, как и все на Земле в конце XX века, испытывал на себе пагубное антропогенное воздействие, но и под Дортмундом и в других местах ФРГ я видела только фантастически прибранный, чистый, благоухающий лес, где не было ни мусора, ни сухих стволов и сучьев, ни валяющихся бревен.

Семинар начался вступительным словом Кима Селихова, который обрисовал, как здорово живется писателям в СССР (западногерманские писатели кое-чему действительно могли бы позавидовать – у них не было Литфонда, оплачиваемых больничных листов, домов творчества по льготным тарифам и вообще ничего такого, не говоря уже о том, что литературным трудом в ФРГ могли жить лишь некоторые писатели, чьи книги выходили очень большими для этой страны тиражами и числились в списках бестселлеров).

Рассказ Селихова, все больше входившего во вкус в перечислении тех замечательных земных благ, которыми пользовались советские писатели, не говоря уже о великой и необыкновенной свободе слова, которая царила в СССР, переводить было очень просто – это был обычный чиновничий треп, прочитанный по бумажке, в которую я время от времени заглядывала, чтобы ничего не пропустить.

Потом слово взял Михаил Луконин и с ходу начал читать стихи из большого толстого однотомника, привезенного с собой. У него были сделаны закладки, он открывал нужную страницу и начинал декламировать. Декламировал он хорошо, и стихи тоже были неплохи. Но каково было мне! Ведь он не показал мне эти стихи заранее, чтобы я могла продумать лексику, фразеологию, ритмику, и мне пришлось на слух, улавливая лишь размер и ритм стиха, попытаться передать его смысл и образность, его метафорику и пафос – Луконин был пафосный поэт.

Сейчас я даже не понимаю, как решилась на такое! Я напряглась, сконцентрировалась, можно даже сказать, что на меня снизошло вдохновение. В общем, когда Луконин услышал бурные аплодисменты, он понял, что по крайней мере часть успеха принадлежит переводчику – слушатели видели и понимали, что я перевожу без подготовки, на слух, и оценили это. (Позднее это оценил и Луконин, при всех московских встречах целовал ручку и говорил теплые слова). Потом пришлось похожим образом переводить Рамза Бабаджана – частично он читал по-узбекски, и здесь все могли отдыхать, частично в переводе на русский, сделанном хорошими русскими поэтами-переводчиками, и вот это-то и надо было перевести на немецкий. Но тут было проще, потому что Бабаджан понял, что ему же будет лучше, если он положит передо мной текст.

Аудитория была в целом очень благожелательная – если не считать нескольких профессиональных критиков, которые приехали, чтобы сделать «остренькие» материалы для своих газет. Но основная часть публики с немалым изумлением выслушала мой доклад о том, что переводят в Советском Союзе из классической и современной немецкой литературы и что о ней пишут, т. е. некий небольшой обзор советской германистики. Атмосфера сгустилась лишь тогда, когда стали задавать неизбежные в те годы вопросы о Солженицыне (это было меньше чем за год до его высылки. Кстати, если кто не помнит – приютила опального писателя именно ФРГ, Вилли Брандт принял это решение, а жил Солженицын какое-то время ни у кого иного, как у Генриха Бёлля)...

Как писал присутствовавший на семинаре опытнейший критик Рене Дроммерт в еженедельнике «Цайт», дискуссия в «Хаус Аленберг» (так называлась вилла) показала, что, с одной стороны, различия в мировосприятии не так уж велики (пока не зашел разговор о Солженицыне), с другой – даже малейшее лексическое несоответствие обнажает некие пропасти в этом миропонимании. Так, узбекский поэт, читая свою поэму «Вода», употребил слово «вечность». Далее следует цитата из статьи Дроммерта (Цайт, № 23, 1973): «Молодая московская германистка Ирина Млечина, которая блестяще переводила, перевела и поэму Бабаджана, притом импровизированно. Слово «вечность» (Дроммерт дал транскрипцию этого слова латин-

скими буквами. – *Авт.*) она перевела как «Ewigkeit». Те, кто слушал сверхвнимательно, внутренне напряглись. Вечность? Как это понятие, связанное у нас, как правило, с религиозными представлениями, как оно сочетается с обществом, отданным во власть атеизма?.. На вопрос о вечности Луконин попытался ответить с очаровательным поэтическим многословием, но расплывчато и не очень точно. Вечность, по его словам, это то, что дольше человеческой жизни, дольше жизни поэта. Она длится столько, сколько еще сохраняет свое звучание стихотворение, пережившие поэта»...

Критика не устроило такое объяснение, но он тут же подчеркнул, что это в общем не такие уж значительные расхождения, несмотря на пропасть между «западно-теистической» и «восточно-атеистической концепцией». Куда важнее тяжкие противоречия между «моральной податливостью искусства на Востоке» и новым «антипросвещенчеством искусства на Западе». Он заметил, что семинарская дискуссия подтвердила: понятие реализма в СССР в последние годы претерпевает многообещающие изменения.

Еще цитата: «Ирина Млечина, у которой в будущем году выходит книга под названием «Западногерманский роман 60-х годов» (она вышла в 1974 году под названием «Литература и общество потребления». – *Авт.*) в своем докладе о немецкой литературе отметила, что понятие реализма, которое раньше нередко просто отождествлялось с натурализмом, теперь понимается гораздо шире... Кстати, похожие вещи сказал Георгий Товстоногов, блистательный главный режиссер Ленинградского Большого драматического театра им. Максима Горького, когда рассказывал о своем театре...»

Я помню, конечно, не только захватывающие споры о слове «вечность» или о понимании реализма, но и ту неприятную атмосферу, которая возникла, когда кто-то из студентов задал вопрос о Солженицыне. Они действительно не понимали, почему этого писателя подвергают унижениям и оскорблениям, что он такого сделал?

На вопросы, продиктованные искренним желанием аудитории разобраться, наши литературные бонзы отвечали, как обычно: со злобным неприятием, с желанием внушить, что Солженицын морально и художественно неполноценен, что он наносит огромный нравственный вред обществу и что в Советском Союзе публикуется только то, что «приносит пользу обществу». Были и прямые попытки доказать, что преданный анафеме писатель морально нечистоплотен, погряз в мелких делишках, ну и далее в таком же духе. Переводить все это было противно, но и встать и сказать, что я со всем этим не согласна, я вовсе не была готова. Я пыталась лишь смягчить наиболее резкие ответы, чего-то не перевести вовсе. Помню, как в перерыве увидела лежащих на траве молодых парней, задававших вопросы. У них был огорченный и обиженный вид – с ними обошлись плохо и нечестно, было жаль этих ребят, которые хотели знать правду, и себя тоже – хотелось подойти к ним и сказать, что я думаю по этому поводу, но я, конечно, не решилась. В те времена, после «Ивана Денисовича» и рассказов, я относилась к Солженицыну с большим пиететом.

На дни советской культуры должен был приехать Брежнев и даже разнесся слух, что он приедет в Дортмунд. Одна из местных газет приготовилась печатать приветствие Брежневу на русском языке, и меня попросили за ночь перевести текст с немецкого. Я охотно взялась за это поручение, но трудность заключалась в том, что надо было напечатать текст на машинке узким столбцом с определенным количеством знаков в строке, которое нельзя было нарушить – столбец имитировал газетную колонку. Компьютеров еще не было, во всяком случае, в типографской практике, да и вообще в широком употреблении. Быстро переведя текст, я промучилась остаток ночи, пытаясь соблюсти количество знаков в строке, и всякий раз, забывшись, печатала лишнюю букву или две, и приходилось все начинать сначала. Наконец я справилась с этой задачей и утром вручила газетчикам текст.

Текст, с которым я так намучилась, не был напечатан, потому что Брежнев в Дортмунд не приехал, но с Брандтом встретался, и тот подарил ему какой-то роскошный «мерседес».

Любитель хороших авто Брежнев немедленно сел в него и, будучи лихим водителем, рванул по Петербургу на бешеной скорости, приведя в полный шок охрану с обеих сторон. Его выловили с извинениями и в диком страхе за его жизнь, где-то далеко от места старта. Тогда об этом все рассказывали, то есть рассказывали немцы, а советские шепотом пересказывали друг другу.

На официальном приеме по случаю завершения «Дней культуры» Брежнев не присутствовал, зато присутствовала министр культуры Екатерина Фурцева, которая официально их возглавляла. Она выглядела вполне элегантно, у нее была хорошая осанка и стройная фигура, и она произнесла вполне корректную и даже не очень длинную заготовленную речь...

Однажды драматург Танкред Дорст, пригласивший меня домой на Рождество, оказал тем самым большую честь, потому что домой зовут только самых близких. В его доме, помимо его молодой подруги, был еще Кристиан Энценсбергер, младший брат известнейшего в свое время поэта Ганса Магнуса Энценсбергера, тоже с подругой. Они весело трепались о чем-то, время от времени вспоминая, что надо как-то подключать к разговору и случайно попавшую в их общество иностранку, да еще из Советского Союза.

И вдруг Дорст, человек в высшей степени располагающий и доброжелательный, говорит: «Ирина, у меня через пару дней премьера в Милане, я вас приглашаю. Мы сядем в мою машину и через несколько часов будем на месте». (Разговор шел в Мюнхене). Все живо присоединились к этому предложению и стали говорить, что поедут на двух машинах, а может, прихватят еще кого-нибудь из друзей и что мне есть смысл соглашаться, потому что пьеса очень интересная. Я сейчас уже не помню, о какой пьесе шла речь, но зато помню свой испуг, когда Дорст еще задолго до этого сказал мимоходом, что намеревается написать мюзикл о Карле Марксе, а я, сделав большие глаза, сказала ему с самыми благими намерениями: «Не делайте этого, умоляю вас!» Он изумленно посмотрел на меня. Я же знала одно: писать мюзикл, то есть нечто музыкально-веселое, даже фривольное, про основоположника никак нельзя, и если он это сделает, то сразу войдет в Советском Союзе в число персон нон грата и его не будут приглашать, переводить и ставить в театрах. Ничего этого я, конечно, не сказала, и Дорст решил, что я пошутила.

Но когда я отказалась ехать в Милан, никто вообще ничего не понял. Девушки стали меня уговаривать, а я начала бубнить, что у меня нет визы, на что Дорст и Энценсбергер-младший со смехом отвечали, что никогда итальянские пограничники ничего не спрашивают, тем более у Дорста, который то и дело катается в Милан на свои спектакли. Но я покачала головой, и они от меня отвязались. Кто поймет этих советских? Как я ни старалась, я всегда чувствовала себя чужой – ну хотя бы потому, что не могла, как они, взять и поехать на машине в Милан...

Я бывала в ФРГ в разные, можно сказать, даже ключевые моменты истории, например, после заключения так называемого Московского договора, который подписали Алексей Косыгин и Вилли Брандт 12 августа 1970 года. Заключение Московского договора положило начало новой, по сравнению с тем, что было до 1970 года, политике отказа от «применения силы», более мягким, терпимым и дружественным отношениям между СССР и ФРГ. Отныне это были не враждебные друг другу, а мирно сосуществующие государства.

Тогдашний посол в Москве Хельмут Аллардт в своих мемуарах под названием «Московский дневник», очень, кстати, интересных, описывает все перипетии заключения этого договора, дипломатическую игру и дипломатические усилия с обеих сторон, которые ему предшествовали. Там он упоминает Виталия Сырокомского и его жену, то есть меня, как представителей интеллигенции, которые так или иначе были вовлечены в этот постепенный сложный процесс потепления отношений, улучшения общественной «экологии».

Как-то я посетила уже вышедшего к тому времени в отставку посла в его прекрасном доме в Мюнхене. Я уже не увидела там его русской жены Ирины, дамы элегантно и властной, принадлежавшей к потомкам первой русской эмиграции. Они после совместной жизни в Москве, видимо, расстались. Г-н Аллардт, высокий крупный седовласый мужчина, немало постаравшийся для заключения упомянутого договора, встретил меня очень гостеприимно,

по-дружески, угостил домашним обедом, приготовленным специально по этому случаю экономкой, и показал множество отличных полотен, украшавших стены его жилища, среди них картины Ильи Глазунова – этот российский живописец всегда любил работать для дипломатического корпуса. Мы долго вспоминали минувшие дни, потом, понимая, что пора вставать, я рассказала ему знаменитую шутку Козьмы Пруткова про три вещи, которые, однажды начавши, трудно окончить: говорить с другом, вернувшимся из похода, есть вкусные вещи и (тут он смеялся с особым удовольствием) «чесать, где чешется». Как любитель всего русского он не мог не оценить остроумия Козьмы Пруткова.

Я попросила г-на Аллардта вызвать такси. Он замахал руками: «Нет, что вы, я сам вас доставлю в гостиницу». Мы спустились вниз, сели в машину и с помощью какой-то выставленной в окно электронной штучки стена, отделявшая нас от улицы, плавно поднялась вверх. Мы выехали из гаража и ворота сами опустились. Тогда это произвело на меня сильное впечатление и еще раз напомнило о том, в каких разных мирах мы живем.

Вспоминая посла Аллардта, с которым нас связывали действительно теплые дружеские отношения, я не могу не упомянуть и его сына Александра Аллардта, который тоже был дипломатом и, как и отец, сердечно с нами дружил. Александр был очень красивым мужчиной – можно сказать, настоящим красавцем, к тому же очень мужественным. Он это наверняка знал, но, как казалось, никогда не использовал этот козырь в отношениях с людьми, особенно в России. Возможно, с женщинами – да, но это так естественно...

Самой необычной, экстравагантной и обворожительной фигурой в истории наших отношений с западными немцами был Андреас Майер-Ландрут, который, когда мы познакомились в 1967 году, был пресс-атташе посольства в Москве. Мы сразу почувствовали взаимное расположение – надо полагать, немцам импонировала непривычная открытость и прямота Виталия Сырокомского, искренность и отсутствие фальши в отношениях, которые всегда его характеризовали.

У Майер-Ландрута, который был родом из Прибалтики, было двое маленьких детей и молодая жена, кажется, титулованная венгерская аристократка. Она очень забавно и охотно смеялась, и Майер-Ландрут, человек с никогда ему не изменявшим чувством юмора, говорил: «Я женат на три генерации такого смеха». Тут уже смеялись мы и отважились спросить, что он имеет в виду. Он пояснил, что так смеется не только его жена, но и теща и дочка. Получалось, действительно «три генерации». Кстати, правильно склонять существительные он научился очень быстро и говорил по-русски безупречно.

Однажды он пригласил нас в дом своего коллеги фон Штудница, который потом, уже после Майер-Ландрута, тоже стал послом ФРГ в России, это уже было в 90-е годы, и теперь на приемы ходил мой сын Леонид Млечин, который несколько раз интервьюировал его, работая заместителем главного редактора «Известий», а потом политическим обозревателем ТВЦ.

Но вернемся в 1967 год (а может, это было годом позже?). Добросердечный хозяин фон Штудниц и Майер-Ландрут познакомили нас с очень интересным персонажем, которого представили как последнего секретаря Льва Толстого Виктора Лебрена. К тому времени Лебрен был в очень преклонных годах и приехал в Россию из Франции. Я сделала с ним небольшое интервью для «Литературной газеты», каковое было опубликовано и вызвало большой интерес – как-никак секретарь Льва Толстого! А в семейном альбоме осталось несколько примечательных фотографий: Виктор Лебрен, Андреас Майер-Ландрут, Виталий Сырокомский и я.

Мне посчастливилось быть у г-на Майер-Ландрута дома, в Германии. Те маленькие дети, которых я когда-то увидела в квартире на Шевченковской набережной спящими в кроватках, расположенных в два яруса, к тому времени превратились во взрослых молодых людей. Сын, помнится, готовился стать летчиком. Дочь очень напоминала мать – такая же сверххозяиная, темноволосая, с осиной талией. Мы были очень удивлены, узнав, что и этот брак не выдержал испытания временем и распался, хотя и продержался гораздо дольше, чем у большинства

знакомых. Майер-Ландрут женился вновь, на очень интересной и привлекательной женщине. Сделав блестящую карьеру, дважды побывав послом ФРГ в Советском Союзе и статс-секретарем, а потом главой Ведомства федерального президента, он в возрасте 65 лет, как положено для государственных чиновников в ФРГ, вышел в отставку, но работать не перестал, а приехал снова в Москву в качестве генерального представителя концерна «Даймлер-Крайслер»...

Среди наших дипломатических знакомых был и еще один посол ФРГ – д-р Хайкен. С ним связана особая, в чем-то ужасная, но все же завершившаяся счастливо история. О ней Виталий Сырокомский подробно рассказал в своих воспоминаниях, опубликованных в 2001 году в журнале «Знамя».

Эберхард Хайкен работал в посольстве ФРГ в Москве и мы очень мило общались. Однажды после очередного скандала, когда из ФРГ выдворили одного или нескольких советских граждан, работавших под посольской крышей не по прямому назначению, Виталия неожиданно вызвали на Лубянку и «попросили» опубликовать материал, компрометирующий Хайкена. Нужен был повод выслать кого-то из немецких дипломатов из Москвы. Выбор пал именно на Хайкена, милейшего, интеллигентнейшего человека.

Виталий попытался сопротивляться. Он сказал: «Только не в «Литгазете»! Дайте куда угодно, только не нам!» Но «хозяева» настаивали. Попытки сопротивляться Лубянке мало кому удавались или кончались плачевно для тех, кто их предпринимал. Короче, материал в «облагороженном» виде появился в «ЛГ», и Хайкену пришлось уехать. В то время послом ФРГ в Москве был г-н Зам, с которым у нас тоже сложились отличные отношения – супруги Зам даже приезжали к нам в Переделкино, мы угощали их медвежатиной, потом ездили вместе к летней резиденции Патриарха – была Пасха – и Замы были в восторге. И вдруг эта жуткая публикация.

На каком-то приеме Зам подошел к Виталию и сказал, что очень разочарован, хотя всегда считал его другом ФРГ и своим лично. Виталий огорченно промолчал. После этого посол подошел ко мне и демонстративно громко, чтобы слышал муж, сказал: «Наше отношение к вам, фрау Ирина, остается неизменным. Мы по-прежнему ценим вас как германиста и заинтересованного исследователя нашей культуры. Вам мы всегда рады». После этого нам ничего не оставалось, как покинуть прием.

Затем настали иные времена, наступили «перестройка» и «гласность», и через какое-то время послом в Москву приехал никто иной, как г-н Хайкен. Мы пригласили их с женой к себе домой, и Виталий, не углубляясь в детали, рассказал им суть истории. Хайкен сказал, что все забыто, что настали новые времена, и кто старое помянет... Это было в самом начале 90-х годов, и с едой в Москве было, как известно, не очень шикарно.

Я долго обдумывала, как «сварить суп из топора», и наконец решила воспользоваться давно полюбившимся болгарским рецептом: в глиняные (купленные в той же Болгарии) горшочки кладется все, что есть в доме: нарезанная колбаса или мясо, или кусочки курицы, брынза, ломтики помидора, тертый сыр, взбитый с молоком и яйцом. Все это запекается в духовке. Я сумела раздобыть даже брынзу. Содержимое горшочков покрылось румяной корочкой. Я специальной рукавицей извлекла их из духовки и поставила на поднос. Горшочки были очень горячие. Я взяла поднос и понесла в комнату, где за столом сидели гости. Поставив поднос одной стороной на стол, я другую сторону придерживала рукой. Но когда я сняла два первых горшочка со стороны, стоявшей на столе, и пододвинула их гостям, в этот момент, лишившись равновесия, поднос рухнул на пол с оставшимися горшочками, которые на глазах окаменевших гостей и к ужасу хозяйки разбились вдребезги, завалив пол кусками горячей еды.

Преодолев шоковое состояние и извинившись, я пошла за веником. Потом, собрав мусор, я вдруг начала хохотать, и следом расхохотались все, в том числе онемевшие от потрясения Хайкены. Они тут же принялись деловито раскладывать ложкой содержимое своих горшочков по всем тарелкам. Потом Хайкен поднял тост за меня и сказал, что сегодня ему понравилось

все: вкусная еда и главное, смех хозяйки, которая не стала причитать, ругать себя и судьбу, а просто засмеялась... Пошутив еще по поводу случившегося, выпив вина, потом чаю, повспоминав прошлое, мы расстались, как добрые друзья...

В конце 1970 года я попала на съезд писателей ФРГ. Слова «съезд писателей», столь привычные для советского уха, были отнюдь не привычными для уха немецкого. Да и сам съезд ничем не походил на советские, с их многочасовыми секретарскими речами, бесчисленными приветствиями, официальной и скучищей, заведомо исключавшей всякое живое слово. Все заранее процеживалось множеством инстанций, на завершающем этапе – в ЦК КПСС.

И вот я оказываюсь в фойе штутгартского концертного зала «Лидерхалле», где толчется огромное количество народа, в том числе молодежи. Здесь выставлены плакаты молодых графиков, варьирующие главную тему съезда, проходившего под девизом «Единство одиночек, писатель в мире труда». На плакате перо, зажатое в руке, острием обращено к надписи: «Покончить с эксплуатацией авторов». На другом – стопка книг, на ней – подставленная для подающих шляпа. Подпись: «Конец скромности» – так озаглавил свою речь на съезде Генрих Бёлль. Крылатый Пегас, изображенный в виде дойной коровки. Рядом – увенчанный лавровым венком ослик: из-под хвоста в шляпу, подставленную издателем, падают монеты. И текст: «Писатели – ослы».

Накануне съезда я потратила немало усилий, чтобы договориться об интервью с Генрихом Бёллем – надо было написать статью для «Литературной газеты». Наконец, заручилась обещанием Бёлля встретиться за полчаса до начала в фойе. Пока я в огромной толпе взволнованно поджидала Бёлля, боясь не пропустить, ка мне подошла высокая молодая женщина с каким-то огромным подписным листом и сказала: «Я из «Эмнести интернешнл» и протянула лист и ручку. Я даже не вникла в суть того, о чем меня просят и что надо подписать – какое-нибудь очередное возмущенное письмо по поводу притеснения диссидентов в СССР или «восточном блоке».

Меня охватил дикий страх. Слово «Эмнести интернешнл» ассоциировались с ЦРУ, со «злобными происками империализма», попытками «влезть во внутренние дела СССР» и т. д. В общем, это было исчадие ада. Я была уверена, что и здесь, в этом зале есть соглядатаи, и если увидят, что я что-то подписываю для этой организации, – конец всему, всем поездкам, всем встречам с Бёллем или Грассом и вообще журналистской деятельности. В общем, как в «Мефисто» Клауса Манна: вы выбираете или карьеру или благородство.

В Советском Союзе совместить это было почти невозможно (как впрочем и в свое время в той стране и тех условиях, которые имел в виду Клаус Манн). Кому-то это удавалось – например, Юрию Трифонову или Булату Окуджаве. Но остальным? Едва ли. Одним словом, я что-то промямлила в ответ, дав понять, что очень спешу и не располагаю временем, чтобы прочитать текст.

К счастью, в этот момент появился спаситель Бёлль, и к нему ринулась толпа журналистов. Он улыбнулся своей чарующей улыбкой, сказав: «Потом, потом, господа, извините» и, взяв меня под руку, повел в какой-то кабинет, где я в течение получаса мучала его вопросами...

Меня поразил вид зала, где проходил съезд. После советского благочиния и рангопочитания необыкновенным казалось все. В огромном, вмещающем более двух тысяч человек, помещении мест на всех не хватило, и молодые бородачи и их эмансипированные подруги без церемоний устраивались на полу. Студенты и молодежь заняли все проходы, разместившись на полу всюду, где был хоть клочок незанятого пространства – вплотную перед сценой, между рядами, на галерке.

Я увидела много молодых людей в инвалидных колясках. Эта социальная активность «людей с ограниченными возможностями», как уже тогда политкорректно называли в ФРГ инвалидов, и отношение к ним – благожелательное, ровное, уважительное, отнюдь не снисходительное или покровительственное или, тем более, хамское, – вообще поражало повсюду в этой стране: на разных культурно-политических мероприятиях, собраниях, семинарах, просто на улице и в транспорте, особенно в аэропортах.

Так вот, и здесь, на съезде, я увидела коляски, множество пестрой молодежи, несколько не смущенной своим положением. Сверстники подходили, здоровались, что-то обсуждали. И абсолютно никого не огорчала необходимость сидеть на полу.

Еще больше поразило то, что в таком переполненном самыми случайными людьми зале появился федеральный канцлер Вилли Брандт, без всякой охраны, прямо по лесенке взбежал на сцену и сел рядом с Бёллем и Грассом. На съезде обсуждались главным образом социальные проблемы писателей – никакой трескотни о роли и задачах литературы в воспитании масс, о народности и патриотизме (слово «патриотизм» десятилетиями после разгрома «рейха» считалось неприличным, непристойным – поистине «последним прибежищем негодяев»). Это слово, как и «родина», «отечество» и пр., можно было встретить только в негативном смысле. Кое-что изменилось лишь значительно позднее, в связи с объединением Германии.

Меня особенно поразило, что эти считавшиеся непригодными для употребления слова вдруг замелькали – и чуть ли не в горделивом смысле – в публицистике писателей, которые раньше были как раз горячими противниками и этих слов, и того исторического контекста, который за ними стоял – например, Мартина Вальзера, который всегда считался «левым», что в те годы было почти синонимично словам «демократ» и «антифашист».

Итак, речи писателей на съезде касались преимущественно не «творческого метода» и не выполнения каких-то грандиозных мессианских задач (Бёлль всегда противился, и возмущенно, тому, чтобы его называли и считали «совестью нации»), а самых простых вещей, вроде пенсий, гонораров, отчислений из библиотек за пользование книгами и т. д.

Присутствие и выступление Вилли Брандта придавало съезду особый оттенок. До сих пор, при демо-христианах, отношения между «духом и властью» были почти враждебными, что кульминировалось в высказываниях «отца экономического чуда» Людвиг Эрхарда и президента Генриха Любке, которые именовали писателей весьма нелестными словами (вроде «шавок» и «невежд»). Речь Вилли Брандта покорила своим доброжелательным, товарищеским, дружеским тоном. Говоря о ситуации в мире – а съезд проходил после заключения Московского договора, опиравшегося на «новую восточную политику», – канцлер призвал писателей способствовать тому, чтобы «разум снова не потерпел крушения в борьбе с невежеством».

Бёлль говорил о том, что практические вопросы, касающиеся материальной свободы писателей, раньше почти не занимали места в общественных дискуссиях. А между тем, писатели, которые по характеру и условиям труда являются «одиночками», начинают все яснее осознавать свое зависимое положение. «Кто мы – если и не работодатели и не работополучатели?» – с таким вопросом обращался к коллегам Гюнтер Грасс, которому, казалось бы, грех было жаловаться на гонорары, так как он был одним из самых известных и высокооплачиваемых литераторов. Однако именно он счел нужным озаглавить свою речь так: «Писатель и профсоюз». Сходную мысль развивал Мартин Вальзер, тоже звезда первой величины на западногерманском литературном небосклоне. Обращение писателей к проблемам своего материального положения – это реакция на диктатуру рынка, – говорил Вальзер.

В Германии второй половины XX века поэт вовсе не был чем-то большим, чем поэт. Поэтам вообще жилось трудно – на литературные заработки не мог существовать никто, все они зарабатывали на телевидении, радио, в кино, университетах. Но и прозаикам было непросто. Вольфганг Кёппен годами и даже десятилетиями жил на средства, которые выплачивало ему издательство «Зуркамп», дорожившее связью с этим незаурядным автором. Издав три его

знаменитых романа 50-х годов, оно исправно платило ему в надежде получить четвертый, который так никогда и не состоялся.

С Кёппеном я встречалась много раз. Мне нравились его романы. Увидев его в первый раз в 1967 году, я была одновременно разочарована и очарована. Он был тихий, сверхскромный, молчаливый человек, который не любил «паблисити», не любил давать интервью. Рассказывают, как он надписывал свою книгу Марселю Райх-Раницкому, одному из самых известных в ФРГ критиков (кстати, сам Райх-Раницкий вспоминает этот эпизод в своей вышедшей позднее книге, но я слышала это как анекдот еще в 70-е годы от общих знакомых в ФРГ). Итак, Кёппен преподнес Райх-Раницкому экземпляр своего сочинения. Тот поблагодарил и попросил надписать его, как это принято, когда автор дарит кому-то свое произведение. Тем более что Райх-Раницкий не раз писал о Кёппене. Кёппен смутился, задумался и сказал, что это трудно, что для этого нужно время и что он вернет книгу завтра. Он действительно ее вернул – с надписью: «Г-ну Марселю Раницкому с дружеской симпатией». Подпись, дата...

В первый раз я встречалась с Кёппеном в ресторане одной мюнхенской гостиницы. Кёппен ел очень мало и так же мало говорил. Мне просто клещами приходилось извлекать из него каждое слово. Я хотела написать о нем большую статью и, кроме того, предстояло подготовить главу о нем для академической «Истории немецкой литературы». Я, как водилось в те годы, ждала от него социально-политического и эстетического комментария к его романам, весьма критичным по отношению к ФРГ 50-х годов. Но именно этого он не хотел делать. И о своих «творческих планах» говорил крайне скупое. По сути, во время встреч – а их было четыре или пять – он говорил примерно об одном и том же романе, над которым работает, но у которого всякий раз было иное название. Роман так и не вышел, были наброски, опубликованные в газетах и журналах, и появилась отдельным изданием прелестная мемуарная повесть «Юность» – импрессионистское произведение о его собственных юных годах, содержавшее удивительно точные, хотя и отрывочные наблюдения над жизнью Германии.

В 1976 году я побывала у него дома. Мы сидели в его рабочей комнате, заваленной – в самом прямом смысле этого слова – книгами и газетами. Сесть было некуда, потому что горы книг и газет высились на полу, на письменном столе, на единственном диване и единственном кресле, не говоря уже о книжных полках. «Вот видите, – смущенно сказал он, мучительно обдумывая, куда бы усадить свою гостью. – Гора газет, никто не хочет ее забрать. Как-то приезжали из «Красного креста», обещали увезти, но так больше и не появились. Не могу найти никого, кто вынес бы эту гору». Я почему-то вспомнила о тимуровцах – они наверняка бы ему помогли. Но тимуровцев уже не было не только в ФРГ, но и в СССР...

Кёппен был тогда уже весьма пожилым человеком, ему было лет 70, что впрочем не помешало ему, как я спустя многие годы прочитала в прессе, уже ближе к 80-ти завести роман, и притом серьезный, с совсем юной особой – прямо-таки как Гёте, что показалось мне странным и мало правдоподобным, потому что до этого я никогда не слышала о связанных с ним любовных историях, и вообще ходили слухи о его якобы не совсем обычной сексуальной ориентации, как принято выражаться теперь, но это были именно слухи. Впрочем, чего только на свете не бывает!

Кёппен жаловался: в ФРГ никто не читает. Когда я – с внезапно пробудившимся советским пропагандистским азартом – гордо заявила, что в СССР читают все («Вы бы посмотрели, что происходит в метро: почти каждый держит в руках книгу или журнал!») и что главная трудность – достать хорошую литературу, ее не хватает, Кёппен страшно удивился. «У нас, знаете ли, был опрос и выяснилось, что во многих домах есть всего одна книга», – печально сказал он.

Я хотела утешить его старым советским анекдотом про милиционера, которому товарищи ко дню рождения решили сделать подарок. «Давайте подарим ему книгу», – предложил один из них, самый продвинутый. Но другие тут же возразили: «Книга у него уже есть». Но

этого анекдота я так и не рассказала – он стилистически не вписывался в замкнутый книжно-газетный мир этого старого печального человека. А он, как и почти все его коллеги в ФРГ, с сожалением говорил о том, что возникает «новая форма безграмотности: всю информацию получают из телевидения, даже в школе». (Слава богу, что Кёппен не дожил до распространения интернета.) В том, что он сказал насчет телевидения, для меня не было ничего нового с тех пор, как в 60-е годы я прочитала некоторые работы Маршалла Маклюэна.

Позднее, слушая российские стенания по аналогичному поводу (телевидение отравляет молодое поколение), я вспоминала Кёппена. Мне кажется, что в ФРГ телевидению так и не удалось осуществить «глобальный заговор»: духовно отравить немецкую нацию. Конечно, там хватало всего: и скинхедов, и прочих националистов, с радостью поджигавших общежития турок или вьетнамцев, или цыган, но в целом заложенные после разгрома нацизма демократические основы казались достаточно прочными, чтобы общество могло и хотело противостоять проявлениям экстремизма. А вот за двенадцать лет нацистского господства, когда телевидения не было и в помине, Гитлеру удалось разложить и развратить немцев и втравить их в преступления и в чудовищную войну, которая кончилась для них катастрофой.

Как и все другие авторы, Кёппен жаловался, конечно, не только и не столько на телевидение. Ему представлялось ужасным, что писатели, которые хотят большего, нежели просто развлекать публику – например, детективами, – жить доходами от литературы не могут. Конечно, продолжал он, карманные дешевые издания выходят большими тиражами, но авторам от этого мало проку. Знаете ли вы, с горечью говорил он, что уборщица получает в час больше, чем писатель – 8-10 марок. «Вот поэтому и приходится делать что-то для телевидения, радио, книгами я бы жить не мог, мне попросту было бы нечего есть. Бёлль, Грасс, Ленц, Фриш – пожалуй, единственные, кто много зарабатывает своими книгами. Будь у меня деньги, я бы спокойно мог работать, писать романы, не прерываясь для литературной поденщины. Ведь у нас писатель не имеет пенсии, а жить тем, что было написано раньше, невозможно». Конечно, Кёппен не говорил ни о том, что с романом у него все не ладится, ни о том, что на самом деле его материально поддерживает – или даже содержит – издательство «Зуркамп», вернее, его владелец Унзельд, который, видимо, считал это делом чести.

Кёппен рассказывал, что намеревался написать роман об Америке: «Импульсом для этой идеи было убийство Кеннеди, потом убили его брата, потом Мартина Лютера Кинга. Действительность меня обогнала, не знаю, поняли ли вы мою мысль: развитие событий опередило меня, оказалось богаче и страшнее, чем вымысел».

Конечно, я понимала, что сумею использовать в статье слова Кёппена о том, что в Германии «сейчас мрачный климат» (хотя мне климат в ФРГ казался отнюдь не мрачным, а весьма привлекательным). Но Кёппен считал, что «идет процесс обуржуазивания, углубления консерватизма, замаскированного красивым словом «ностальгия». Различие между двумя большими партийными блоками не так уж велико, все одинаково обещают социальное процветание». Сегодня я понимаю, что он был не так уж не прав, но все, что он говорил о Германии, было несколько сгущено, драматизировано – таково было его восприятие...

Генриха Бёлля я впервые увидела осенью 1962 года в Москве, в Малом зале Центрального дома литераторов. Он приехал вместе с двумя коллегами: детским писателем Рихардом Герлахом и совсем «не-детским» Рудольфом Хагельштанге, весьма известным в те годы в ФРГ (вернувшись домой, Хагельштанге написал не дружественную – мягко говоря – книгу о Советском союзе под названием «Матрешки в матрешке» (по-немецки «Куклы в кукле»). Двое спутников Бёлля меня занимали мало. Интересовал меня, как и всех остальных, только Бёлль. В тот приезд, кстати, он посетил еще Ясную Поляну и Ленинград. Он был уже очень популярен в СССР: все, или почти все, написанное им к тому времени, было здесь издано. У него была большая и увлеченная читательская аудитория.

Я очень хорошо помню этот переполненный Малый зал, куда набилось больше народу, чем он мог вместить; многие сидели на дополнительно принесенных из фойе стульях. За большим столом лицом к публике разместились немецкие писатели. Рядом с Бёллем сидел Лев Копелев, который переводил с немецкого для слушателей и с русского для гостей. По-моему, Бёлль и Копелев тогда встретились впервые (хотя Копелев, конечно, читал все, что опубликовал Бёлль). Именно с этого, первого приезда Бёлля в нашу страну – а он побывал здесь потом еще пять раз – началась их дружба. Позднее, когда Копелев оказался в опале, а Генрих Бёлль написал послесловие к его воспоминаниям и к тому же стал поддерживать Александра Солженицына и других преследуемых в те годы писателей, отношение к Бёллю со стороны тех, кто официально руководил в Советском Союзе литературой, резко изменилось, и его какое-то время у нас не издавали.

Но в 1962-м еще все было «в порядке», все улыбались, в том числе руководивший церемонией в Малом зале ЦДЛ и сидевший во главе стола Борис Леонтьевич Сучков, известный литературовед, который по долгу службы и в соответствии со сложившимися обычаями той поры, немедленно вступил с Бёллем в идеологическую полемику.

Собственно, спорить-то было не о чем. Бёлль и тогда, и раньше, и потом испытывал чувство вины и стыда за то, что – не по своей воле – участвовал в войне, в том числе на Восточном фронте, то есть воевал непосредственно против Советского Союза. Он этого никогда не скрывал, и в своих произведениях и в личных беседах откровенно говорил об этом и искренне – а он вообще был очень искренний человек – сожалел, что дело было именно так. Он никогда не пытался оправдаться (и не любил, когда это делали его соотечественники), снять с себя тяжелое бремя вины и всегда разделял ответственность за содеянное гитлеровским рейхом, хотя от всей души ненавидел и Гитлера, и его рейх.

Но Борис Леонтьевич Сучков, человек в высшей степени интеллигентный и порядочный, с трагической судьбой – по ложному доносу он провел энное количество лет в советских лагерях, – по заведенному порядку считал необходимым затеять со всеми тремя, а особенно, конечно, с Бёллем, этот бессмысленный диспут, от которого Бёлль не уклонился и в свойственной ему мягкой манере пытался что-то отвечать напускавшему на себя воинственный вид Борису Сучкову.

Когда официальная часть кончилась и публика рванула к столу, за которым сидели немцы, мне удалось, протиснувшись к Бёллю, задать ему несколько вопросов и получить от него в подарок, с надписью красными чернилами, только что вышедшую в ФРГ тоненькую книжку – два рассказа: «Когда война началась» и «Когда война кончилась». Дома я немедленно прочитала их, и они покорили меня своей особой искренней интонацией, честностью и переданным в них горячим отвращением автора к войне. Эту книжку я храню до сих пор. Красные чернила выцвели и почти стерлись...

Потом мы встретились на уже упомянутом съезде писателей в 1970 году. Незадолго до нашей встречи был подписан знаменитый Московский договор, который должен был улучшить отношения между Москвой и Бонном и в подготовке и подписании которого немаловажную роль сыграл тогдашний федеральный канцлер Вилли Брандт.

Я спросила Бёлля, что он думает по этому поводу. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой и сказал: «Знаете, я не очень верю во все эти договоры. Если вы в курсе, был некогда договор Молотова-Риббентропа, а чем дело кончилось?! Так что договор сам по себе еще ничего не значит – его всегда можно нарушить». И улыбка его из озорной стала слегка печальной...

Потом мы еще несколько раз, в разные годы, встречались с Бёллем в Кёльне и каждый раз беседовали о его произведениях. Я старалась расспросить, над чем он работает, какие темы и проблемы больше всего занимают его в тот момент. И потом писала об этом. Последний раз я видела Бёлля в Москве, в 1972 году, в редакции «Литературной газеты». Я брала у него интервью. А он спрашивал, что нового и интересного в советской литературе...

В 1974 году Союз советских писателей отправил меня в командировку в ФРГ. «Делегация» состояла из двух человек: моим спутником был главный редактор журнала «Советская литература на иностранных языках» Савва Дангулов, бывший какое-то время на дипломатической службе и потому выбранный для решения сложной проблемы – хоть как-то способствовать улучшению отношений с Союзом писателей ФРГ, которые пришли к тому времени в полную негодность. Я была придана Дангулову в качестве переводчика и человека, кое-что знающего о литературе ФРГ (я к тому времени уже защитила диссертацию по этой самой литературе). Мы прибыли в Кёльн и вечером того же дня в моем гостиничном номере раздались с интервалом минут в пять два телефонных звонка.

Один из звонивших был Пауль Шаллюк, известный писатель, наполовину, кстати, русский. Его отец когда-то попал в плен во время Первой мировой войны и оказался в Сибири, где женился на сибирячке, каковую привез потом в Германию. От этого брака и родился симпатичный и талантливый писатель Пауль Шаллюк, которого я когда-то немного переводила, с которым неоднократно встречалась и считала своим другом. Он взволнованным тоном сказал: «Ирина, здесь Солженицын!» «В каком смысле?» – не поняла я. «Ну, долго рассказывать, его выслали из Советского Союза, а Вилли Брандт согласился его принять у нас. Он сейчас в Кёльне у Бёлля».

И далее Шаллюк сказал, что сейчас приедет ко мне в гостиницу и что я должна спуститься в холл – там и обсудим потрясающую новость. Через несколько минут позвонил другой, в тот момент еще более популярный в ФРГ писатель Гюнтер Вальраф и не менее взволнованно сообщил мне ту же новость. А также добавил, что сейчас приедет ко мне в гостиницу и просит меня спуститься в холл.

Разумеется, на столь отважный шаг я самостоятельно решиться не могла, и в соответствии с субординацией попросила по телефону разрешения у Дангулова, который жил в соседнем номере. Дангулов строго сказал: «Я вам запрещаю. И думать не смейте». «Почему?» – возмутилась я. «Потому!» – ответил мой собеседник и бросил трубку. Я с огорчением перезвонила обоим писателям и что-то промямлила про своего спутника, у которого на сегодняшний вечер другие планы, мы с ним должны кого-то посетить и из нашей встречи в гостинице ничего не выйдет. Они вежливо сказали: что ж, мол, поделаешь, поговорим в другой раз.

Я хотела позвонить Бёллю и расспросить о случившемся его – уж он-то мог все рассказать точно: как, при каких обстоятельствах прибыл в Кёльн Солженицын и действительно ли он находится у него, Бёлля. Но я не решилась. Дангуловский гнев сильно охладил мое желание вникнуть поглубже в случившееся – а ведь это была настоящая сенсация. Я снова позвонила Дангулову и попыталась убедить его встретиться с немецкими литераторами, сказав, что ему самому будет интересно их послушать. А они к тому же были среди друзей Бёлля. Именно Гюнтеру Вальрафу адресовал он свое знаменитое «Письмо молодому не-католику».

Но Дангулов, наверняка, просто боялся, что его имя как-то окажется связанным – хотя бы через эту встречу и беседу с Шаллюком и Вальрафом – с именем Солженицына и снова отрывисто бросил: «Нет!», после чего немедленно положил трубку.

Признаюсь, что я в тот вечер нарушила «вето», позвонила обоим немецким друзьям, посчитав, что Дангулов уже спит и не сумеет засечь моего перемещения из гостиничного номера в холл. Так оно и было, и мы втроем до середины ночи обсуждали эту потрясающую новость, то бишь говорили о Солженицыне и приютившем его Бёлле.

С Бёллем мне больше встретиться не довелось. Он посетил Москву – после уже упомянутого 1972 года – еще в 1975 и последний раз в 1979 году. Тогда меня, как назло, не было в Москве. Потом он долго болел, у него были проблемы с сосудами ног, даже небольшая ампутация, и 16 июля 1985 года его не стало...

Я, пока жива, не забуду несколько коротких встреч с этим великим писателем и замечательным человеком, наши беседы, его интерес к людям и его доброту, готовность понять и помочь, его внимательный и доброжелательный взгляд, его чарующую улыбку...

В октябре 1976 года, находясь в те дни в ФРГ, я из уличного телефона-автомата в Штутгарте позвонила Альфреду Андершу в Швейцарию, в Цюрих. Вот так просто вошла в кабину, взяла телефонную книгу, нашла номер и тут же соединилась. Для молодого читателя приходится пояснить, что тогда, для советского человека, это было что-то неслыханное. Слышимость была лучше, чем если бы я из своей московской квартиры звонила, например, в Мытищи.

Отозвался приятный сдержанный баритон, почему-то немедленно идентифицированный мною как голос Андерша, которого я до тех пор никогда не слышала. Это был действительно он, как писали в старинных добротнореалистических романах и повестях. Волнуясь я сказала примерно следующее: я такая-то, приехала из Москвы, перевожу роман «Винтерспельт», у меня куча вопросов по тексту и я хотела бы задать их лично. А вообще я читала все его книги и очень бы хотела встретиться.

На другом конце провода возникла короткая пауза, в ходе которой я услышала шуршанье бумаги (возможно, переворачиваемых листков календаря). Потом Андерш сказал: «Послезавтра Вас устроит? Дело в том, что на завтра я записан к своему врачу и поеду к нему в Базель, а послезавтра я свободен. Не могли бы Вы приехать к шести вечера во Фрайбург, в гостиницу «Виктория», это удобно, у самого вокзала».

«Конечно», – незамедлительно ответила я, смутно представляя, где находится Фрайбург и как внедрить в заранее составленную и не терпящую посторонних вкраплений программу моей командировки незапланированный фрайбургский зигзаг. «Буду непременно», – повторила я. «Ну и отлично, – отозвался суховатый андершевский баритон. – Значит, до встречи! Времени у нас будет достаточно – целый вечер. А рано утром мне придется вернуться в Цюрих, у меня выступление в университете».

С помощью любезных немецких друзей я изменила свой маршрут и уже днем была во Фрайбурге, этом прелестном южно-немецком городке. Впрочем, есть ли в Германии хоть один не прелестный маленький городок? Я вошла в отель «Виктория», села за столик, заказала кофе и стала ждать.

И вдруг за одним из соседних столиков я увидела знакомое лицо. Нет, это был не Штирлиц. И еще не Андерш. Для германиста, всю жизнь занимающегося немецкой литературой и знающего если не лично, то по фотографиям на суперобложках книг и на газетных полосах едва ли не всех сколько-нибудь известных литераторов, наступил поистине звездный час. Мало того, что в отель «Виктория» с минуты на минуту должен был прибыть Альфред Андерш, в нем уже сидел, спокойно и меланхолично покуривая трубочку, Зигфрид Ленц: такой же светлоглазый, светловолосый и флегматичный, как на своих фотографиях. В полном одиночестве он неторопливо потягивал нечто из высокого бокала.

Сердце мое заколотилось в непривычном и странном ритме – может, у меня началась мерцательная аритмия? Мне хотелось подойти к Ленцу и сказать: «Господин Ленц, хотя я и не перевожу на русский ваш очередной роман, выходящий в Москве, но я пишу к нему предисловие, я писала о вас статьи, я рецензировала ваши книги, я прочитала от корки до корки все тома ваших сочинений, и едва ли во всей Германии у вас нашелся бы более внимательный читатель!» Разумеется, все это было произнесено в форме столь любезного тогдашней литературе внутреннего монолога, без всяких признаков внешнего.

Я лихорадочно обдумывала разнообразные экзотические возможности превращения внутреннего монолога во внешний диалог, в моем воображении всплывали сцены из кинематографа и драматургической классики, но на жителя вольного ганзейского города Гамбурга с его устоявшимися демократическими традициями все эти кино-реминисценции могли произвести странное впечатление.

Пока я предавалась экзотическим мыслям, в обычной жизни свойственным мне не больше, чем нордически уравновешенному Ленцу, взгляд его элегически скользил по залу, не задерживаясь на персоне нездешней наружности, чьи экстрасенсорные импульсы были явно слишком слабы. Он не подозревал, что странная дама, лихорадочно перебирающая какие-то бумажки, – критик, да еще и германист. А я не знала, как он относится к критикам-германистам, хотя и подозревала, что без особой теплоты. Ведь не жаловал же их, к примеру, Гёте, воскликнувший, согласно преданию: «Бейте его, собаку, это рецензент!» Ну, может, Ленц так прямо и не призвал бы почтенных посетителей «Виктории» наброситься на «собаку-рецензента», но что-нибудь мало симпатичное подумать бы мог. И тогда, не приведи Господь, могла возникнуть ужасная драма, чреватая ухудшением едва наладившихся советско-западногерманских отношений. А вдруг он просто встанет, наденет свою капитанскую фуражечку и флегматично покинет «Викторию», чтобы никогда больше в нее не вернуться.

В моей программе посещение Ленца у него дома в Гамбурге числилось через две недели. Мой сопровождающий по имени Удо, по моей просьбе, подошел к Ленцу и стал что-то шептать ему на ухо, после чего Ленц немедленно встал и вместе с Удо подошел к столику, где я сидела, поздоровался и занял место напротив. Я назвалась. Он удивленно сказал: «Да ведь у меня в календаре записано, что вы приедете ко мне в Гамбург!» Я могла объяснить случившееся только тем, что Всеблагие, пригласив меня на этот пир, по-видимому, почувствовали, как я хочу его видеть, и пошли мне навстречу, организовав свидание раньше. Ленц сказал, что приехал во Фрайбургский университет читать лекцию, а на следующее утро собирается в Цюрих, чтобы в тамошнем университете выступить на тему «Литература и политика».

И вот в этот самый момент, как опять же писали в добротных и незатейливых старинных сочинениях, в дверях показался невысокий, сухощавый, седеющий человек в очках. Если я сразу узнала Ленца, могла ли я не узнать Андерша?! Впрочем, в отличие от меня, ни один из посетителей ресторана не обратил внимания ни на того, ни на другого, явно не подозревая, свидетелями какой исторической встречи они являются.

Зато Андерш, сняв плащ и оглядевшись, молниеносно вычислил меня: видимо, по напряженному лицу и груде листов на столе. Он сразу подошел, представился, сел рядом. Ленц сидел спиной к двери. Увидев Андерша, он вскочил. Они изумленно обнялись. Встреча была неожиданной для обоих. А для меня это было вроде неожиданного свидания Шиллера и Гёте. Всеблагие явно проявили любезность, пригласив меня на этот пир.

Выяснилось, что Андерш и Ленц не виделись лет двадцать (а прежде очень дружили). И что завтра утром они оба одним поездом уедут в тот самый Цюрих, где должны выступать в том самом университете на столь актуальную тогда (и потом тоже) тему «Литература и политика» (или наоборот). Кстати, оба очень приглашали меня поехать с ними, справедливо полагая, что для германистки из России будет полезно участвовать в таком увлекательном мероприятии, где левые студенты будут задавать маститым (и уже потому подозрительным) писателям разные каверзные вопросы.

Страстное желание увидеть не только швейцарских студентов, но и самое Швейцарию, где я никогда не была и, вероятно, уже никогда не буду, отчаянно боролась во мне со страхом перед всеми теми ведомствами и органами, компетентными и не очень, которым этот мой вояж наверняка придется не по душе: ведь им положено бдительно следить, чтобы я и на чужой территории вела себя столь же законопослушно, как и на собственной, и даже еще законопослушнее. Я вспомнила, как незадолго до того драматург Танкред Дорст вот точно так же, из самых добрых побуждений, приглашал меня на свою премьеру в Милан, утверждая, что такой переезд – сущий пустяк, о котором и думать нечего. И тогда, и сейчас я, дабы придать своему отказу светскую (или советскую?) цивилизованную форму, пробормотала что-то насчет визы, которой у меня нет.

У моих собеседников это вызвало смех. «Помилуйте, какая виза, – сказал Андерш. – Ни пограничники, ни таможенники, как правило, даже не заглядывают в вагон. Все это чистая условность, вы отлично проведете время, уверяю вас». А Ленц, в качестве дополнительного аргумента, даже разыграл веселую сценку на нижненемецком диалекте, как он пересекает границу с Данией, когда по несколько раз в год, а то и в месяц переезжает туда-сюда. «Ну что, Ленц, опять приехал, – говорит датский таможенник и весело ухмыляется. – Да вот, приехал, – говорит Ленц. – Ну, давай-давай, Ленц», – говорит датский таможенник, и они радостно похлопывают друг друга по плечу. Мне эта сценка показалась настолько фантастической, что ни один, самый изобретательный писатель-фантаст не мог бы подняться до таких высот вымысла.

Разыгранный для меня Ленцем веселый скетч не мог отвлечь от другого, куда менее радостного и просто-таки устрашающего видения: как грозный швейцарский пограничник, взяв в руки мой серпастый-молоткастый (а если точнее, то синий служебный) паспорт, грозно скажет: «А где виза, мадам? Как же это Вы, мадам, в нашу суверенную Швейцарию пожаловали без визы? Не есть ли это неуважение к суверенному государству? Извольте переместиться туда, откуда прибыли-с!» И как меня передадут в руки сперва германских властей, а уж германские власти сообщат советским, и как за мной придут в неторжественной обстановке (примерно, как в романах Ле Карре) определенные товарищи в костюмах неопределенного цвета и как мне потом не видать не только Швейцарии, но и, что хуже всего, и ФРГ, и даже ГДР. Все это молниеносно пронеслось в моем мозгу, произведя, очевидно, выразительные отпечатки на моем лице, и на сем тема незаконного въезда на конференцию о литературе и политике была исчерпана.

Мои деликатные и доброжелательные немецкие собеседники хоть и мало знали о России, но кое-что в этой жизни понимали, и к тому же были неплохими инженерами человеческих душ. Мой побледневший вид и тоска в глазах четко объяснили им, что эта тема исчерпана.

Кстати, когда я через две недели прибыла, как было назначено, к Ленцу в Гамбург, он сообщил, что они очень сожалели, что меня не было с ними, – потому что ни одна живая душа ни с какими контрольными функциями даже не заглянула к ним в вагон.

Ленц был живой, молодежавый, светловолосый, не по-северному витальный и темпераментный, с острым взглядом серовато-голубых глаз. К моменту нашей случайной встречи он путешествовал два месяца – сначала, вместе с Гюнтером Грассом участвовал в предвыборной кампании социал-демократов, агитируя за Вилли Брандта, потом выступал в скандинавских университетах, перед большими аудиториями. Но никаких следов усталости я на его лице не обнаружила. У него оказалась уникальная память – он сказал, что запоминает беседы с людьми дословно: в деталях помнит особенности характера каждого человека, и это очень помогает ему писать.

Единственное, чего не хранит его память, – это краски, цвета. В это было невозможно поверить, перечитывая к примеру, описание живописных полотен художника Нансена в романе «Урок немецкого». Зашла речь о переводах – его переводили тогда во всем мире, и отовсюду звонили переводчики с просьбой помочь. Например, переводчик из Венгрии просил: «Зигфрид, что мне делать, у тебя двенадцать видов чаек, а у нас в Венгрии всего один-единственный имеется!» «Придумай! – говорит ему Ленц. – Изобрети названия сам!» И обращая ко мне добавляет: «У вас в Советском Союзе, наверное, тоже много видов чаек, а то я бы посоветовал переводчику придумать что-нибудь экстравагантное, вроде: «чайка Октябрьской революции!»

Потом Ленц рассказал анекдот о том, кто и почему доживает до глубокой старости. «В доме престарелых опрос: Сколько вам лет? Сто пятьдесят. Как вам удалось дожить до такого возраста? Я всю жизнь пил водку три раза в день. А вам сколько? Мне сто сорок. А вам как удалось? Я очень много курил. Наконец, подходят к самому дряхлому. А вот как вам удалось? Я очень много любил. Сколько же вам лет? Тридцать семь!»

Андерш анекдотов не рассказывал, но, не желая отставать от Ленца, рассказал о своей поездке в Советский Союз осенью 1975 года. Он был в восторге от русских пейзажей и все время повторял: «Русский лес в октябре – сплошное золото. Восхитительно! Захватывающе!» Он был тогда в «делегации» – это слово, к удовольствию Ленца, он произнес на русский манер и очень иронически, и они оба засмеялись.

Андерш участвовал тогда в очередной конференции «Война и литература». Кстати, Константин Симонов в письме к нему, приглашавшем на конференцию, высказал мнение, что роман Андерша «Винтерспельт» – один из лучших о войне. Я готова присоединиться к мнению Симонова, который, надо думать, кое-что понимал и в войне, и в литературе. Мне вдвойне хочется согласиться с Симоновым, потому что он в этом письме Андершу очень похвалил и мой перевод.

«Делегацию» повезли по местам войны, в том числе в Одессу, а оттуда в огромный колхоз, где было «страшно интересно» и где встречали «очень гостеприимно». «Я хотел осмотреть колхоз, но директор сказал: «Вы знаете, сегодня у нас играют две свадьбы, и если вы пойдете, то уже не выйдете до послезавтра». С ними был один шотландский лорд, писатель, он не послушал директора и исчез, и появился действительно только на следующее утро и в весьма помятом виде. Потом «делегация» отправилась в пионерский лагерь, пионеры приветствовали писателей, пели, декламировали.

Но Андерш, которому все было интересно, все же сказал немного грустно: «Вместо того, чтобы нам побольше показать, нас сразу повели за накрытые столы и застолье длилось часами». Потом он стал спрашивать руководителя лагеря: «Что вы делаете с трудными детьми?» Сперва никто не понял его вопроса, а когда поняли, ответили: «У нас здесь все дети трудные». Это было честно, и Андершу очень понравилось.

Говорили мы, конечно, и о вещах более серьезных, о его жизни, о сложных отношениях с компартией, в которую он вступил семнадцатилетним юнцом, за что успел побывать в 1933 году в Дахау, об отношении к марксизму, о разочаровании, о том, что «детерминистская философия, отрицающая свободу воли», была одной из причин того, что нацистам в Германии удалось взять власть. Говорили о его дезертирстве из вермахта, об американском плене, где он научился многому, в том числе тому, «что такое демократия», о том, почему сейчас, то есть в 70-е годы, он отошел от политической деятельности, от всякого участия в политических кампаниях и, покинув ФРГ, поселился в Швейцарии, где и пишет свои романы.

Мы с Андершем проговорили тогда до середины ночи. Ленц ушел спать, извинившись и сославшись на усталость. Он понимал, что я – хоть у Андерша в романе нет чаек – хочу расспросить его о каких-то трудных моментах перевода, и деликатно удалился. Тем более что нам еще предстояла встреча.

Как ни долог вечер, но это всего лишь один вечер, а вопросов у меня было много. Андерш сказал, что мечтает снова приехать в Россию, а я подумала, что тогда-то уж буду расспрашивать его и разговаривать с ним не один вечер, а много-много вечеров подряд. Он только раз за эти несколько часов упомянул, что болен, что возможно, предстоит операция – почки. Через год с небольшим ему действительно удалили почку, он почувствовал себя лучше, много работал, был полон творческих планов. В феврале 1980 года от его жены Гизелы Андерш пришло траурное известие...

Той личной фрайбургской встрече 1976 года предшествовала – лет за десять до нее – другая встреча, так сказать, нематериальная, не имевшая осязаемого выражения: странными, окольными путями, через одного доброго знакомого, попала ко мне хранившаяся за семью печатями в самых строжайших спецхранах тонкая книжечка «Вишни свободы». На белой суперобложке молодой Андерш был изображен в форме солдата вермахта. Эта книжка, прочитанная за одну ночь, и определила мой горячий интерес к этому писателю, стала основой того «избирательного сродства», которое не так уж часто возникает между читателем и писателем.

Избегая пышных слов, я все же признаюсь, что она стала для меня настоящим открытием. Ничего подобного я никогда до того не читала. Такие книги до меня не доходили, об их существовании я по наивности и невежеству не подозревала и их потому не искала. Это был взгляд на жизнь и историю нескольких десятилетий – начиная с двадцатых годов, с каким никогда до того мне не приходилось сталкиваться. Люди более изощренные и дальновидные, уже тогда знавшие содержимое спецхранов московских библиотек, получавшие сложными и опасными путями книги из-за рубежа, вправе скроить презрительную гримасу в духе ильфо-петровского «Надо было знать!». Конечно, надо было! Но я знала очень мало. Когда был XX съезд партии, мне было двадцать лет, и как ни потрясена я была открывшимся, это еще не означало для меня, что отныне я буду всюду и везде искать книги, которые до конца откроют мне глаза.

Не стану задним числом изображать себя умнее и прозорливее, чем я была. Скептицизма хватало, в собственной биографии тоже было немало такого, что заставляло думать и сомневаться, и мучиться несоответствиями. Но все же жизнь шла обычным своим чередом: семья, ребенок, работа...

Я читала книги немецких писателей, но главным образом те, которые переводились или продавались у нас или в ГДР. И только с середины 60-х годов, получив, благодаря работе в редакции «Литературной газеты», доступ к прессе ФРГ, я – воспользуюсь еще раз несвойственной мне высокопарной лексикой – стала другим человеком. Я открывала для себя факты и явления, оценки и суждения, о которых не подозревала. И вот тут-то мне попался тоненький томик «Вишен свободы», который перевернул мою жизнь.

В нем бывший солдат вермахта и бывший функционер баварского коммунистического союза молодежи рассказывал о своем двойном дезертирстве: о разрыве с компартией и о побеге из вермахта в 1944 году на итальянском фронте. Это была книга о свободе и индивидуальной ответственности, о том, что человек лишь тогда бывает свободен, когда принимает свое решение, совершает свой выбор «где-то между Богом и Ничто». Это была книга, написанная не без влияния французских экзистенциалистов и американских писателей XX столетия, и она так сильно отличалась от всего, что мне приходилось читать до сих пор.

На русском языке эта книжка тогда еще не выходила. До конца 80-х думать было нечего издать это сочинение «разочаровавшего революционера и бывшего марксиста», а потом стремительное время поскакало такими темпами, что стало уже чуть ли не поздно: читательский интерес переместился в иные сферы – от русской эмигрантской литературы и религиозной философии до запоздало хлынувшего на книжный рынок отечественного постмодернизма. Так или иначе, для исповедей, подобных «Вишням свободы», снова не осталось ни бумаги, ни издателей. Коммерческой сенсацией такие книги не становятся. Но людям они нужны. Позднее сочинения Андерша все же были изданы. А перевод «Вишен свободы» я включила в свою монографию об Андерше.

...Прочитав «Вишни свободы», я стала жадно искать все остальные книги Андерша, прочла его замечательный роман «Занзибар, или Последняя причина», этот шедевр изящества и тонкого психологизма, близкий по мысли «Вишням свободы», потом нашумевший в ФРГ роман «Рыжая», где Андерш, стараясь расширить свою читательскую аудиторию, использовал детективный элемент, прочла замечательные сборники рассказов, эссе и редкостных по красоте и глубине путевых очерков, прочла стихи и радиопьесы, потом появился роман «Винтерспельт», и я перевела его на русский язык. Это была трудная работа, хотя проза Андерша, прозрачная и ясная, кажется простой и легкой. Было трудно и в то же время необыкновенно увлекательно и радостно переводить эту книгу. Да, избирательное средство существует – во время работы над переводом я убедилась в этом окончательно.

И сейчас, спустя уже столько лет, я время от времени вновь открываю страницы этого романа и перечитываю их с чувством наслаждения, снова открывая для себя что-то новое,

чего не распознала, не увидела, не почувствовала раньше. Андерш стал для меня писателем необходимым. Его мироощущение, его видение жизни, людей, истории не просто понятны и близки мне, в них для меня заключена чарующая магия, загадка, и разгадать до конца тайну созданного им художественного мира я, видимо, не смогу никогда...

... Давным-давно, страшно сказать – в 1966 году – «Литературная газета» предложила одной молодой германистке написать о только что изданной в ФРГ и уже поставленной на сцене пьесе западногерманского писателя Гюнтера Грасса. Ну, что-то вроде рецензии. Вокруг пьесы, сообщили ей сотрудники редакции, шел большой шум, точнее – скандал. А газеты – даже в советские времена – очень любили что-нибудь «жареное». Вот и «Литгазета» клюнула на скандальную пьесу.

Германистка легкомысленно согласилась – она к тому времени еще не читала Грасса. Да и как бы она могла это сделать? Ведь прочитать какое-нибудь произведение писателя ФРГ можно было только в русском переводе – в журнале «Иностранная литература» или в виде книги, изданной в одном из государственных издательств. Это были тщательно отобранные, отфильтрованные произведения – ничего «идеологически чуждого» с «империалистического Запада» к нам проникнуть не могло. Правда, среди отобранного и изданного, слава Богу, случались очень хорошие и выдающиеся авторы – например, Генрих Бёлль.

Существовала, конечно, возможность почитать что-нибудь запретное в «спецхране» крупнейших библиотек. Но для этого надо было принести из очень солидного учреждения документ с круглой печатью, удостоверяющий, что имярек непременно нуждается в прочтении определенной книги или журнала во имя благородных научных и других государственных важных целей. Но как в ту пору достать такую бумагу?!

Зато легко было добыть книги из ГДР – «первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян». Достаточно было поехать на тогдашнюю улицу Горького, ныне Тверскую, в книжный магазин «Дружба», где продавались сочинения авторов из социалистических стран на соответствующих языках. Молодая германистка именно так и поступала – покупала наугад сочинения «наших» немецких авторов, стоившие, кстати, очень дешево. Она исправно их читала, кое-что переводила или писала статьи и заметки.

А тут вдруг Грасс – о нем тогда в Советском Союзе мало кто знал, разве что искушенные международники, избранная каста советской журналистики. Их излюбленной темой – если речь шла о ФРГ – была неонацистская угроза. «Неофашисты поднимают голову», «Шабаш недобитых», «Вечно вчерашние жаждут реванша» – так или примерно так назывались их статьи. Упрямая германистка даже собирала увлекательную коллекцию подобных заголовков из советских центральных газет. Все они были примерно в этом духе. Если речь, конечно, не шла о западногерманских коммунистах, которые, естественно, жаждали мира и социализма и готовы были за это каждый день идти на бой (как сказал бы Гёте).

«Литературная газета», заказав германистке статью, конечно, позаботилась о том, чтобы снабдить ее немецким текстом. Через тот самый «спецхран» была доставлена в редакцию и передана ей тоненькая книжечка под названием «Плебеи репетируют восстание» (именно так называлась модная в тот момент пьеса Гюнтера Грасса). Пока германистка взахлеб читала текст, у международного отдела «ЛГ» созрел более масштабный план: не размениваться на мелочи, а сразу выдать большой опус про вышеозначенного писателя и его главный роман «Жестяной барабан». Ей снова привезли из «спецхрана» книгу – на сей раз толстую.

Она принялась читать и поняла, что никогда в жизни ничего подобного не читала. Это было захватывающее, завораживающее чтение. Прочитав немалое количество сочинений ГДР-вских авторов и гораздо меньшее количество произведений из ФРГ – включая действительно восхитительного Бёлля, – германистка столкнулась с литературой совершенно непривычной стилистики и невероятной выразительности, нового для нее подхода к истории и современности. Она, можно сказать, была потрясена. В послесловии к роману, написанном одним запад-

ногерманским критиком, она к тому же – впервые в жизни – прочитала что-то про типологическое сходство тоталитарных режимов в Европе XX века и была этим крайне озадачена и взволнована.

Как раз тогда она навещала в Доме творчества писателей «Малеевка» под Рузой своего отца и встретила там известного литературоведа и германиста Льва Копелева, с коим была немного знакома. Он пригласил ее зайти к нему в комнату, где он жил со своей женой Раисой Орловой, видной американисткой, чтобы показать кое-какие немецкие книги. Его диван был завален западногерманскими изданиями, и она не решилась спросить, как они к нему попали. Среди книг она увидела знакомую обложку – это был роман «Жестяной барабан». Она схватила книгу и спросила Копелева, читал ли он роман и послесловие к нему. «Ведь там такое написано!» – краснея от волнения, промолвила она. «А что именно?» – поинтересовался Копелев. Она сказала: «Ну, это, про сходство диктатур и т. д.». Копелев засмеялся и сказал: «А что, вы сами никогда об этом не задумывались? Только говорите тише, тут перегородки тонкие...» Это было, повторю, в 1966 году, в разгар холодной войны и идеологических сражений между двумя мощными военно-стратегическими блоками.

Так или иначе, статья о Грассе была ею написана летом того же года и сразу пошла в номер. Подана она была шикарно. Большими и жирными латинскими буквами был набран заголовок: «*Tertium non datur*» («Третьего не дано»). А чуть ниже и менее крупными буквами – подзаголовок: «Блеск и нищета Гюнтера Грасса». Еще никогда молодая германистка не решалась писать так дерзко и лихо. Но по одобрительной реакции начальства международного отдела она поняла, что попала в точку, что он нее ждали именно такого материала.

Уже заголовок подсказывал, что автор статьи занял по отношению к автору романа нечто вроде менторской позиции, напомнив тому, что «третьего не дано», т. е. что надо выбирать только между поджигателями войны и теми, кто ведет мир в светлое будущее. Иначе – тупик, конец: заблудился человек на историческом перекрестке и не знает, куда дальше – в общем, потерял путеводную нить.

Отдав должное Грассу-художнику, германистка подвергла его зубодробительной критике во всем остальном: не занял правильной идеологической позиции, не так понимает исторический процесс. И вообще в политическом плане Грасс хромал, надо было его немножко подтянуть, объяснить, в чем он неправ, не отвергая его с ходу, ведь как художник он все-таки очень одарен.

Потом, и очень скоро (а возможно, уже тогда, когда она писала), ей было стыдно за эту статью, хотя и звучала она весьма элегантно. Ведь роман ее на самом деле потряс.

Со временем ей становилось все более неловко перед художником, которого сегодня без всяких натяжек можно назвать великим. И она с тех пор всячески старалась загладить свою вину: писала о других романах Грасса уже совсем по-другому, без прежней лихости, всерьез, стараясь глубже разобраться в его сложном художественном мире...

Читатель уже догадался, что та самая германистка была я. На съезде писателей в Штутгарте в 1970 году я безуспешно пыталась – через знакомых – получить интервью у Грасса. Но его раздирали на части бесчисленные немецкие интервьюеры, и у меня ничего не вышло. По иронии судьбы я поговорила с ним лично уже в Москве, в редакции журнала «Вопросы литературы» в годы перестройки, когда он приехал в столицу со своей женой Уте...

Обычно мне давали в ФРГ сопровождающего – это был знак любезности и желания помочь, потому что объясниться я могла сама, а вот заказать гостиницу, билеты в театр, организовать встречу с писателями, попасть вовремя на интервью – все это было под силу только «Интернационес», которая и выделяла мне в каждом городе гида. Однажды меня сопровождала совсем молоденькая актриса из Фрайбургского театра Дорис Мерц (она успела сыграть графиню в «Соломенной шляпке» и небольшие роли в пьесах Брехта). Вместе с Дорис мы очень ненадолго оказались в Баден-Бадене.

Я увидела курхаус, где бывали Тургенев и Достоевский, казино, где последний безуспешно пытался выиграть. По городу, по аллеям прекрасного парка прогуливались богатые дамы с собачками, отдыхающие нежились в шезлонгах на позднем осеннем солнышке, совсем как в «Волшебной горе» Томаса Манна. Глядя на богатую публику, Дорис, кривя прелестный носик, говорила с усмешкой: «Здесь пахнет роскошью» и «Здесь выводят на прогулку самые дорогие меховые манто». Сама того не подозревая, юная Дорис почти слово в слово повторяла то, что писал в романе «Под местным наркозом» Гюнтер Грасс о сидящих в открытых кафе на Курфюрстендамм в Западном Берлине пожилых дамах, называя их «пушными зверями, пожирающими пирожные». Речь шла все о тех же богатых дамах, одетых в дорожные меховые манто и украшенных бриллиантами.

В их оправдание можно, правда, сказать, что после разгрома Германии все немцы были примерно в одном положении: все разбирали завалы, кругом бродили голодные и искалеченные люди, вернувшиеся с фронта, а денежная реформа конца 40-х годов оделила каждого одинаковой и очень небольшой суммой новых немецких марок. Сразу прекратил свое существование черный рынок. Сигареты, мыло, шелковые чулки и женское тело перестали быть главной валютой. Теперь уже все зависело от умения, усердия, удачливости каждого участника складывающегося и быстро развивающегося свободного рынка.

Но ни о чем таком ни юная Дорис, ни я в тот момент не думали: для нас шикарная жизнь богатых людей, приезжающих в Баден-Баден, один из самых знаменитых мировых курортов, была одинаково непостижимой и недостижимой. Слово «Курконцерт», то есть курортный концерт, концерт для отдыхающих, вызывало у Дорис смех – для нее это был еще один презренный символ буржуазности, как и пожилые дамы, играющие в теннис...

Как-то возле художественной галереи в Гамбурге я обратила внимание на громадное оранжевое сооружение – смесь трактора с самолетом. Мой сопровождающий Франк рассказал, что когда здесь закончились работы по ремонту дороги, то прохожие думали, что рабочие оставили часть своей техники – какую-то диковинную дорожную машину.

А это оказалось произведением искусства под названием «Маленький циклоп», созданным в 1967 году художником Бернхардом Люгинбюе. В фойе самой галереи мое внимание привлекла куча песка, прикрытая медной пластиной с двумя отверстиями. Это произведение должно было символизировать текучесть жизни, ее движение, а также единение полов...

Посетив Новую национальную галерею Западного Берлина, обладающую интереснейшим собранием произведений современного искусства, я заметила, что множество зрителей подолгу задерживается в одном из залов, где размещался экспонат под названием «Большой лабиринт». Я подошла поближе. На невысоком помосте – фигуры, похожие на манекены. Женщина с проломленным черепом и дырой в животе. Длинные стройные ноги обуты в туфли на высоких каблуках. Лицо с безупречно наложенной косметикой прикрыто не то перепутанной проволокой, не то пучком причудливых корней. Рядом на обычном конторском стуле восседает монстр: прямо из ребер торчит короткая рука, из груди растет клок странных растений, длинная шея с зобом увенчана птичьим клювом. Еще одна женская фигура, с кукольным личиком, в парике, завитом у модного парикмахера, грудь пробита, а из живота свисает тонкая рука с изящной кистью. Наверху, над этой кампанией, безостановочно вертится карусель. Сбоку доска с разноцветными кругляками, похожими на мячи, равномерно качается, будто маятник; сзади на стене наклеплено нечто, вызывающее тошноту. С потолка свешиваются только что освеженные кроличьи тушки, куски чего-то кроваво-красного, а на переднем плане, словно страж в этом саду безумия, дремлет еще одно чудовище, смахивающее на спрута.

Современный зритель, особенно молодой и продвинутый, без запинки объяснит, что могут означать эти юные лица в сочетании с проломленными черепами и оторванными конечностям и как вяжется модная элегантность с отталкивающим уродством и запахом тлена, витающим над этой долиной призраков. У образованного студента филологического факультета,

возможно, даже возникнут ассоциации со знаменитым стихотворением немецкого поэта Готфрида Бенна, описывающего труп юной девушки, в груди которой завелся выводок крысят.

Соединение прекрасного и уродливого, цветения юности с ужасом мертвечины олицетворяло у великого экспрессиониста мысль о безысходности жизни и неизбежности конца, вообще бессмысленности и абсурдности бытия. Едва приметная табличка возле композиции «Большой лабиринт» содержала – для не столь продвинутых западноберлинских зрителей конца 60-х годов прошлого века – интерпретацию авторской мысли. Скульптурная группа символизировала ирреальность, неустойчивость ярмарочного мира, в котором живет «общество потребления». «Гниющая антиформа тления» должна была напоминать об обратной стороне сверкающей медали «всеобщего процветания», всеобщей доступности потребительских предметов, о внутренней червоточине, скрытой под игровой маской, о запрятанном вглубь страхе, вдруг прорывающемся громким всплеском над мертвой поверхностью стоячей воды. Фантазия художника словно обнажила то ощущение ненадежности, зыбкости, человеческой изоляции, которое стерильная атмосфера потребления не устраняет, а обостряет. Она напоминала, что глубокое неблагополучие, задрапированное в пестрое одеяние моды, – важный атом в молекуле современного бытия общества, фетишизирующего потребление.

В этом не было ничего нового – о том же писали лучшие авторы ФРГ. В беседах с некоторыми из них эта тема так или иначе возникала, но я была тогда слишком поверхностна, слишком ориентирована на социологический смысл литературы, а все остальное старалась отодвигать в сторону – до «лучших времен», не подозревая, что «лучшие времена» – это когда ты молод, а другие «лучшие» не наступают вовсе, что бы ни менялось вокруг.

Так вот, нечто сходное, только в иных метафорических формах, иных стилистических решениях, иной образной ткани возникало на страницах замечательного романа «Дело Д'Артеза» Ганса-Эриха Носсака, из беседы с которым мне больше всего запомнился лаконичный страшный рассказ о ковровой бомбардировке Гамбурга в 1943 году; ее он тоже описал в одной из своих книг. И разве не об этом же противоречии жизни, только каждый по-своему, писали хорошо мне знакомые и бывшие моими собеседниками Бёлль, Грасс, Вальзер, поэт Карл Кроров, Вальтер Йенс, блистательный знаток античного мира и современности, у которого я была дома...

Как-то в гостинице я посмотрела по телевидению поразившее меня ток-шоу, в котором участвовала Лени Рифеншталь. Если эта валькирия еще и в начале XXI века выглядела сногсшибательно и продолжала давать интервью (мода на нее росла, как снежный ком), то можно себе представить, как она выглядела 30 октября 1976 года. Помню, что 10 сентября 2003 года пришло сообщение о ее смерти, и все, кто комментировал сей скорбный факт, не могли удержаться от превосходных степеней и восторженных эпитетов.

Участник того давнего ток-шоу композитор Кизеветтер сказал примерно следующее: «Мой отец был наци. Ему я обязан тем, что стал человеком, противоположным тому, чего хотел он. У меня есть песня: «Спасибо вам, реакционеры!» – она как раз о том, как поколение отцов показало нам, какими не надо быть...» Это было определено и со всей ясностью сказано в сторону мадам Рифеншталь, которая не просто относилась к этому поколению «отцов и матерей», но и была особой энтузиасткой нацистского режима и откровенно обожала фюрера, а он ее.

Вслед за композитором выступила пожилая женщина фрау Кречмер, пострадавшая при нацизме за свою принадлежность к социал-демократам. Она с возмущением говорила о Лени Рифеншталь, которая притворяется «невинной овечкой» и пытается доказать, что совершенно не догадывалась ни о каких преступлениях, совершаемых нацистами, а жила исключительно в мире искусства. Фрау Кречмер говорила: «Я пережила это время, и когда я о нем вспоминаю, я готова плакать от боли и горя. Я бы не хотела, чтобы мои внуки пережили такое страшное двенадцатилетие». Потом показали фрагменты фильмов «Голубой свет» (1932) и «Триумф

воли» (1934). Рифеншталь, которой Гитлер лично заказал этот фильм, утверждала, что дружила с художниками, которых потом причислили к «искусству вырождения», что не видела, как сжигали книги, но фигура Гитлера ее действительно завораживала. Ведущий возразил ей: «Но ведь Марлен Дитрих отказалась сотрудничать с нацистами, как и большинство самых уважаемых деятелей культуры Германии». «Ну, Марлене, – с неподражаемой полу-презрительной интонацией сказала Рифеншталь, – я очень хорошо знала Марлене, мы были подругами». Потом она вновь стала убеждать всех, что фильм об олимпийских играх не имел вообще никакого отношения к нацизму. «Я бы хотела, чтобы его сожгли, – патетически заявила она. – Сейчас время другое, вот на меня и нападают. А тогда восхищались...» Можно добавить, что тогда восхищались Гитлером, Геббельсом, Гиммлером, Герингом и другими главарями рейха и теми немногими деятелями культуры, которые к ним присоединились.

Ведущий сказал, что спор идет о проблеме, которая ясно показывает, что прошлое в Германии еще не преодолено. Но сбить Рифеншталь было невозможно: «Меня преследовали после войны, как ведьму в средние века, это длится все послевоенное время. Да, я принадлежала к людям, которые видели третий рейх только с позитивной стороны, и лишь после войны узнала, какие ужасные вещи происходили. Я ничего не знала про концлагеря, про газовые печи. Сейчас я впервые согласилась на это ток-шоу, я всегда уклоняюсь от участия в телепередачах, но меня заверили, что все будет честно...»

Остальным участникам программы настырная Рифеншталь и рта не давала открыть. В начале XXI века, когда даже в России уже не стеснялись апологетически говорить об этой деятельнице немецкого кинематографа, пригретой высшими лицами преступного рейха, я часто вспоминала потрясенное лицо пожилой женщины, фрау Кречмер, и старую, до сих пор иногда звучащую в Германии песню о том, что «мы ничего не знали» и потому «ни в чем не виноваты».

Расчет с этой позицией «непричастности» составил вообще едва ли не главную тему послевоенной немецкой литературы. Бёлль и Грасс, Ленц и Андерш, Носсак и Фриш и многие другие выдающиеся писатели, пишущие по-немецки, бескомпромиссно отвергали подобную систему оправданий. Достаточно почитать их книги – все или почти все они есть по-русски. История двух талантливых женщин – Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь – возможно, один из самых выразительных примеров того, что исторический выбор остается за человеком. Как и его вина и ответственность. Как говорил Томас Манн: от политики нельзя уйти, можно только пойти не в ту сторону. Впрочем, ссылаясь на Томаса Манна, как и на других выдающихся антифашистских писателей, становилось как-то все менее модно, а восхищаться Лени Рифеншталь – вот был очередной писк моды...

В свой последний приезд в ФРГ – в 1991 году (тогда я, конечно, не знала, что это будет последний, но в силу обстоятельств получилось так, что, когда все стали ездить за границу, я вынуждена была распрощаться со всеми поездками – из-за тяжелой болезни мужа), так вот, в 1991 году я снова встретилась с Зигфридом Ленцем и другими известными писателями. Некоторых я давно знала лично, а с двумя, очень разными – познакомилась впервые.

Один из них был Ганс Эгон Хольтхузен. Мы встретились в знаменитом отеле «Четыре времени года». Мне так же не могло прийти в голову, что я запросто буду сидеть за одним столом с Хольтхузеном, как вообразить, что спустя десять лет буду держать в руках русский перевод одной из самых знаменитых и одиозных книг XX века – «В стальных грозах» Эрнста Юнгера. Последнее вообще казалось совершенно немыслимым – ведь Юнгер всегда считался – и несомненно им был – апологетом милитаристской романтики, ее живым воплощением, носителем духа германской офицерской чести и милитантного консерватизма. Кто из германистов не цитировал «В стальных грозах», иллюстрируя этот дух милитаристского упоения, это почти ликующее приятие войны как состояния духа и образа жизни, и часто в контрастном сопоставлении, точнее, противопоставлении роману Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Какие же кардинальные изменения должны были произойти в бывшем советском обществе, в книгоиздательском деле, в мировосприятии читателей, если кто-то вдруг решил, что читательская аудитория готова к сознательному осмыслению романа Юнгера и к переосмыслению его фигуры, всей его деятельности. Кстати, стоит заметить, что как бы ни относиться к Юнгеру, особенно его раннему и самому знаменитому произведению, он всегда держался на неприязненной дистанции к нацизму и, по преданию, даже как-то отправил, не распечатывая, присланное с курьером послание от фюрера, заявив, что с «этим господином» никаких дел иметь не желает. Это к вопросу и о Лени Рифеншталь.

В самом начале перестройки, когда уже происходили кое-какие духовные сдвиги внутри общества, германисты в Институте мировой литературы, где я работала, очень осторожно, в узком кругу поговаривали о том, что, возможно, настало время подумать об издании на русском языке романа «На мраморных скалах» и дневниковых записей Юнгера «Излучения», которые трактовались как проявление юнгеровского диссидентства по отношению к нацизму, корреспондирующее с его полупрезрительным высказыванием об «этом господине» (т. е. Гитлере). Он был немецкий аристократ, презиравший бывшего ефрейтора, ставшего фюрером. Для меня важным, если не главным аргументом в пользу переосмысления фигуры и роли Эрнста Юнгера были посвященные ему статьи Альфреда Андерша и тот факт, что героя своего последнего большого романа «Винтерспельт», майора вермахта Динклагге, Андерш ставил в некий сложный юнгеровский контекст.

Прочитав «В стальных грозах», я была разочарована: книга оказалась, на мой взгляд, скучноватой, несколько монотонной и заземленной. Даже особой апологетики войны я там не ощутила – может, ожидала чего-то сверхоткровенного, обнаженного после стольких лет всеобщих – в том числе с немецкой стороны – обвинений и проклятий в его адрес как писателя, соблазнившего целые поколения молодых немцев на участие в военных «приключениях». Но это тема отдельная.

Ганс-Эгон Хольтхузен оказался в этих воспоминаниях рядом с Юнгером не потому, что считался таким уж явным «соловьем генштаба», хотя и участвовал во второй мировой войне на разных фронтах, в том числе и на Восточном, и кое-что об этом писал, но избегая в общем и целом столь характерной для военного поколения немецких писателей темы вины и ответственности. Это его как бы не касалось – как и другого известного писателя – Герда Гайзера. У Хольтхузена была репутация литератора консервативного, эстета, игнорирующего «сиюминутные», иначе говоря, общественные и политические проблемы, тяготеющего к метафизическому, «вечному», элитарному, не связанному с ролью поэта как «трибуна человечества». Он оказывал, особенно в 50-е годы, довольно сильное воздействие на общественное сознание в ФРГ, считался весьма влиятельным критиком и литературоведом. Был близок к экзистенциализму. Его главным пристрастием и главным объектом литературоведческих изысканий был Рильке, чьим компетентным исследователем он, несомненно, был.

Проблема заключалась в том, что, как уже говорилось выше, все советское литературоведение, и в том числе германистика, были ориентированы на «левых» писателей (и все самые известные авторы таковыми в той или иной степени были), и весь мировой литературный процесс воспринимался через призму эстетики «левых».

Разговаривая с ним, мне трудно было найти правильный тон, он же, со своей стороны, пришел на эту встречу, конечно, с предубеждениями – ему, как он сам признался, не доводилось встречаться с людьми из России, и особого любопытства они у него, в отличие от большинства других моих собеседников, не вызывали. Он, похоже, вообще был весьма надменным господином, и в разговоре избрал слегка покровительственную интонацию – в отличие, к примеру, от Носсака, которого тоже едва ли можно было назвать «левым» и который по своим убеждениям был ближе к Хольтхузену, чем большинство моих демократически настроенных знакомых, однако он во время беседы соблюдал сдержанную, но весьма уважительную дистан-

цию и в нем все же ощущался некий, хотя и скрываемый интерес и к собеседнице, и к стране, из которой она приехала.

Хольтхузен был более светский, более вальяжный и разговорчивый, чем Носсак, но беседа наша, переходившая от Рильке к изданным Хольтхузеном поэтическим антологиям и его собственному творчеству, как-то не приобретала характера сердечности, который был для меня столь привычным в общении с другими немецкими писателями. И все же я рада, что встретила и беседовала с ним – передо мной впервые лично предстал человек – и весьма значительный – из совсем другого общественного и художественного спектра, нежели те, с кем я привычно общалась более тридцати лет.

А вот следующая встреча с новым для меня человеком носила совершенно другой характер.

На 3 декабря 1991 года я была приглашена Зигфридом Ленцем на так называемое «чтение» – распространенная практика в ФРГ, когда прозаик в публичной аудитории читает отрывки из своих произведений. В России такие публичные выступления в советские годы были привилегией почти исключительно поэтов – на их выступления собирались целые стадионы. В Германии маститый прозаик мог выступить и в студенческой аудитории, и просто в каком-то небольшом культурном учреждении, куда приходили желающие, готовые выложить скромную сумму за билет.

Однажды я даже присутствовала на подобном вечере, организованном специально для обитателей дома для престарелых, – в одном из муниципальных зданий, предназначенных для подобных культурных программ. Собрались преимущественно очень пожилые дамы в шелковых кружевных воротничках, с тщательно отлакированными ногтями и аккуратнейше уложенными серебристыми кудельками. У всех были на шее и в ушах старинные украшения. Дамы были сверхвоспитанные, с хорошими манерами, и с неподдельным интересом слушали в исполнении профессиональной актрисы отрывки из произведений романтических писательниц XIX века, а потом небольшой комментарий, который предложила я. Это были остатки общества, некогда именуемого «просвещенной буржуазией» – обедневшие одинокие люди, проводящие финал жизни в доме для престарелых. Для них это был момент сопричастности великой культуре, то есть большое культурное мероприятие. Я была под большим впечатлением и от их ухоженных лиц, и от уважительного отношения к текстам, которые они слушали, вообще от их почтения к культуре...

Так вот Ленц пригласил меня в Гамбурге на чтение отрывков из нового романа, какое должно было состояться в доме с весьма своеобразным названием, происхождение которого мне никто не смог объяснить: «Патриотическое здание», Тростбрюке, 4. Возможно, здание имело отношение еще к временам наполеоновских войн. Название это было необычным прежде всего потому, что в литературе и общественном обиходе ФРГ слово «патриотизм» на протяжении всех послевоенных лет считалось неприличным, его не употребляли.

После «чтения», как любезно сообщалось в приглашении, предполагался ужин с Ленцем. Досадная случайность – сопровождающая потеряла то ли в такси, то ли в телефонной будке кошелек – помешала явиться строго в назначенное время, а в Германии это не принято. Тихонько, стараясь никому не мешать, я вошла в зал, который был уже заполнен, и, к великой радости, увидела одно свободное место в первом ряду, прямо перед столиком, за которым сидел Ленц и возле которого стоял и уже что-то говорил невысокий пожилой господин, которого я не знала. Это был писатель Габриэль Лауб, друг Ленца, которого тот попросил вести его вечер. Лауб произносил что-то, называемое в России «вступительным словом».

Прислушавшись, я поняла, что он рассказывает какую-то историю о Ходже Насреддине, причем рассказывает так живо и смешно, что я засмеялась. Кроме меня, никто в зале не засмеялся – то ли им было не смешно, то ли они считали неприличным смеяться вслух. А Лауб, уловив поддержку, вошел во вкус и стал рассказывать еще смешнее. Переменяя эпизоды из

жизни Ходжи Насреддина собственными шутками, анекдотами и короткими афористичными рассказами – с целью расшевелить публику и подготовить ее к восприятию всегда несколько вяло начинающейся и лишь постепенно набирающей обороты прозы Ленца.

Во время «вступительного слова» я не переставала смеяться, за что Лауб поблагодарил меня, не прерывая речи, улыбкой, а Ленц – приветственным жестом. Потом Ленц читал свою восхитительную прозу, а кончив чтение, подошел ко мне – благо, я сидела рядом, и представил мне Габриэля Лауба, смешные и очень остроумные рассказы которого я давно уже читала и в журналах, и в книгах.

Он был человек очень живого и яркого ума, полный искрометного юмора, рассказчик от Бога, и в устном чтении это чувствовалось особенно отчетливо, потому что сопровождалось выразительной жестикуляцией, не свойственной немцам. Его живые карие глаза и весь его облик не совсем вписывались в среднестатистическую картину нордического Гамбурга.

За ужином, оказавшись между Ленцем и Лаубом, я узнала историю последнего, рассказанную – при всем ее трагизме – как анекдот. Он родился в 1928 году в Польше и был мальчишкой, когда Молотов и Риббентроп подписали известные теперь секретные протоколы, делившие Польшу. Семья Лауб оказалась в немецкой части. Отец, плохо разбиравшийся в политике, но знавший, что хрен редьки не слаще, решил оставаться на месте – будь что будет. Но шустрый мальчик смекнул, что от немцев в любом случае лучше оставаться подальше, и убедил отца податься на восток – со всей большой семьей. Они быстро – благо, брат с собой было особенно нечего – двинулись на восток, где были встречены входящими советскими частями. Их никто не обидел, но вскоре они оказались в Киргизии, куда их выслали, и шустрый Габриэль именно там и пошел в школу. Он выучил русский и киргизский – языки давались ему легко. Потом, сразу после войны, он решил вернуться в Польшу, поучился там, а позднее перебрался в Чехословакию, где выучил чешский и словацкий.

Он начал писать очень рано, и всюду, где он публиковался, его принимали в Союз писателей – таким образом, если я не ошибаюсь, он был членом Союзов писателей едва ли не всех социалистических стран, а в Чехословакии стал даже членом правления или секретарем этого Союза и в столь важном ранге приезжал в Москву в делегации чехословацких писателей, где его встречали очень радушно, как подобает члену иностранной делегации, тем более принадлежащему к руководству. После 1968 года он, потрясенный тем, как давили «Пражскую весну», решил, что хватит с него «братских социалистических стран», и уехал в ФРГ, где и поселился в Гамбурге, в скромной квартире, зарабатывая литературным трудом и имея преданную читательскую аудиторию, ценящую хороший юмор и крепко придуманные афористичные истории. Среди его близких друзей оказался и Зигфрид Ленц.

Увидев во мне благодарную слушательницу, которую очень заинтересовали его необыкновенные жизненные похождения и его симпатичная, очень человечная проза, Лауб – в самый мой последний вечер в Германии – предложил посетить гамбургскую еврейскую общину, где как раз должен был состояться его писательский вечер.

Мы приехали в здание, когда-то принадлежавшее еврейской женской гимназии. В начале 90-х там находилось еврейское культурное общество, устраивавшее время от времени различные мероприятия культурного свойства. В актовом зале я долго стояла, потрясенная, перед развешенными на стенах фотографиями школьных классов и отдельных учениц – почти все они сгорели в освенцимских газовых камерах. Сенат вольного ганзейского города Гамбурга оказывал этому немногочисленному сообществу всяческую поддержку. Со стороны города это была попытка загладить вину, хотя всюду уже сидели люди других поколений, молодые и лично никак не причастные к тому, что совершалось от имени нацистского рейха...

В своих бумагах я нашла черновик письма, отправленного уже из Москвы по горячим следам Габриэлю Лаубу, которого я больше никогда не видела. Вот текст в обратном переводе с немецкого: «Дорогой г-н Лауб! Несмотря на горячую нелюбовь к сочинению писем (как,

впрочем, и всего другого), и в полной неуверенности, получите ли вы мое послание, ибо почта наша работает из рук вон плохо (это было, повторюсь, в начале 90-х), все же не могу не написать вам. Два замечательных дня в Гамбурге я буду вспоминать с удовольствием. Боюсь впасть в сентиментальность (а мы с вами установили, что она нам обоим свойственна), а то нашла бы какие-нибудь эпитеты, вроде «незабываемые», «прекрасные» и проч. Помимо совершенно необычайных и очень грустных впечатлений от посещения бывшей гимназии для девочек (так и хочется вспомнить название повести теперь уже немодной Анны Зегерс «Прогулка мертвых девушек»), все же главным было общение в Вами и Ленцем. Жаль, что нам не удалось поговорить подольше. И не знаю, удастся ли. А пока с удовольствием читаю подаренные вами книги рассказов – от них как-то легче становится жить. Желаю вам здоровья и, как у нас говорили в советские времена, счастья в работе. Ваша *И. М.*

P.S. Замечательная была история про Ходжу Насреддина, которой вы открывали вечер Зигфрида Ленца. До сих пор слышу ваш голос и интонацию. По-моему, я смеялась неприлично громко. Большой привет всем, кто был на вечере в бывшей гимназии и кто так по-доброму отнесся ко мне. Но в первую очередь привет Ленцу и его супруге»...

Из поездок в ФРГ, помимо встреч с известными писателями и издателями, театральных постановок и знаменитых фильмов, которые нельзя было в те годы посмотреть в Москве (вроде «Кабаре», «Танго в Париже», «Ночного портъе» и др.), в памяти застревают совершенно случайные эпизоды, часто, впрочем, раскрывавшие образ жизни и мыслей немцев больше, чем самые интеллектуальные беседы, которые я вела с литераторами.

Как-то в Кёльне мне нужно было купить билет на поезд до Бонна – это рядом. Неожиданно – а по сути, впервые – я увидела у вокзальной кассы очередь, состоявшую, впрочем, не более чем из пяти человек. Я спокойно встала в конец – привычная к огромным толпам, собирающимся всюду, где что-то «давали»: импортные сапоги или бананы. Я и не считала, что стою в очереди.

Но тут вдруг ко мне повернулась стоявшая впереди дама в меховом мантио и с огромными драгоценными серьгами (впрочем, может быть, это была бижутерия – я никогда не отличала одного от другого). На лице дамы были возмущение и гнев. «Вы понимаете, что происходит?» – обратилась она ко мне дрожащим от негодования голосом. Я дала понять, что не очень. «Ну как же, – взволнованно продолжала дама. – У них испортился компостер и из-за этого мы вынуждены стоять в очереди!»

Я робко выразила надежду, что компостер скоро починят. Я видела в окошке раскрасневшегося от неожиданно приключившейся беды пожилого кассира, который призывал на помощь своих коллег. «Пассажиры ждут!» – с ужасом восклицал он. Компостер починили минуты за две, а через три дама с серьгами уже получила свой билет, не преминув сделать внушение несчастному кассиру, которое он выслушал покорно и с извинениями (клиент всегда прав!). Затем, уже отходя от кассы, дама снова обратилась ко мне, а я как раз протягивала в окошко деньги. «Вы видите теперь, какова трудовая мораль Германии!».

Экзальтированно произнеся эту реплику, дама удалилась, а я еще долго думала о столь низко павшей трудовой морали Германии и сравнивала эту никудышную мораль с замечательной трудовой моралью на родине, где подобный эпизод даже не был бы замечен.

Массу впечатлений давали поездки на бундесбане – федеральной железной дороге, являвшей собой чудо порядка, чистоты, функциональности и какой-то особой, незнакомой после советских прокопченных поездов с грязными туалетами, сырым бельем и нервными проводницами, ауры. Конечно, немецкие туалеты, особенно в бундесбане, заслуживали бы отдельного гимна. Но теперь это уже все знают. А тогда они действительно были чем-то вроде символа комфортной и благоустроенной жизни.

Я бывала в ФРГ в те годы, когда в России еще не было иностранных автомобилей, дам в норковых мантио, подметающих подолами грязный снег, шикарных магазинов с полусотней

сортов сыра (хотя в самом фешенебельном магазине Западной Европы «КДВ» в Западном Берлине этих сыров, возможно, было пятьсот сортов, не говоря уже о километровых прилавках с колбасами и ветчинами, производивших какое-то сюрреалистическое впечатление). Вообще там было много такого, что делало жизнь в Советском Союзе и ФРГ совершенно несовместимой. Это были разные планеты и люди на них жили разные. Но постепенно, как мне кажется, конвергенция, наводившая такой ужас на отечественную власть, все же происходила. Конечно, не на уровне потребления, не в качестве товаров или автомобилей, а в стиле поведения. После студенческого движения конца 60-х нравы в ФРГ несколько демократизировались, даже опростились, многое стало казаться ближе по духу, но все же Запад оставался Западом, а Восток – Востоком, и сойтись им было трудно – тут с Киплингом не поспоришь.

Как-то я ехала в купе со стеклянной дверью, где в мягких креслах, помимо меня, расположились еще всего двое пассажиров: мужчина среднего возраста, читавший газету (я почему-то решила, что он коммивояжер – наверное, начитавшись романов Мартина Вальзера), и пожилая дама с поджатыми губками. Я села, положив рядом сумочку, в которой были документы и деньги, а чемодан предусмотрительно поставила наверх, на багажную сетку. Усевшись поудобнее, я открыла книгу (одну из тех, которыми меня щедро одаривали издательства) и стала читать, как говорится, под мерный стук колес.

Я не замечала, что пожилая дама, сидевшая напротив, наблюдает за мной со все нарастающим возмущением. В какой-то миг, оторвав глаза от книги, чтобы взглянуть в окно – о чудесные рейнские пейзажи! – я с ужасом поняла, что вредная старуха меня за что-то возненавидела. Я вопросительно посмотрела на свою визави. И та, воспользовавшись моментом – я больше не читаю, – сказала: «Майне даме, вы всю дорогу беспокоите своего соседа!» Я изумленно спросила: «Чем?» Старушка укоризненно показала глазами на мою маленькую сумочку: одна ручка сумочки касалась рукава господина, поглощенного биржевыми ведомостями. «Простите, ради бога», – сказала я и тут же придвинула сумочку поближе к себе. Дальнейшее могло бы напомнить чеховскую «Смерть чиновника», если бы мне не надо было выходить на ближайшей станции.

«Извините, пожалуйста, майн херр, я вас побеспокоила», – снова сказала я. «О, ерунда, я даже не заметил», – сказал коммивояжер и улыбнулся. Если бы он не улыбнулся, я продолжала бы произносить свои извинения до самой остановки, потому что гневный взгляд моей визави требовал все новых подтверждений моего раскаяния. «В следующий раз будьте внимательней, моя милая, я говорю это на правах старшей», – безапелляционно заявила она, напомнив какую-нибудь диккенсовскую воспитательницу из сиротского приюта. Я клятвенно пообещала, что непременно буду гораздо внимательнее. Кстати, с тех пор в немецких поездах я внимательнейшим образом проверяла, не касается ли какая-нибудь принадлежащая мне вещь какой-нибудь вещи или, упаси боже, части тела соседей по купе...

В одной из поездок моим соседом в купе оказался бравый пожилой господин с седыми висками и отменной выправкой. Принесли чай и завтраки в пакетах. Господин любезно придвинул поближе ко мне чай, поставленный проводником, и развернул свой пакет, улыбкой давая понять, что рекомендует последовать его примеру. «Выглядит аппетитно», – сказал он и снова улыбнулся. Я тоже улыбнулась и развернула пакет.

Мы стали пить чай под «смол ток» – «беседу ни о чем», заимствованную у англосаксов. Это было где-то в районе Мюнхена, и я неосторожно упомянула, что я из более северных широт. «Могу ли я поинтересоваться, откуда, мадам? Неужели из Гамбурга? Я ведь сам оттуда». Пришлось признаться, что я вовсе не из Гамбурга, а из Москвы.

Господин, на мгновение онемев, отодвинул свой чай и с большим интересом посмотрел на попутчицу. «Должен ли я понимать Ваши слова так, что Вы вообще живете в Москве, то есть что Вы не немка, а русская?» «Да, именно так», – подтвердила я. Господин замер. Потом,

мечтательно глядя вдаль, произнес: «Вы не поверите, майне даме, но я никогда еще не встречал здесь, на моей родине, русских, да еще из Москвы».

Далее он произнес приличествующий случаю комплимент моему немецкому языку. «И вообще никогда не предполагал, что встречу вот так, в купе, молодую даму из самой Москвы. Я несколько взволнован, и Вы поймете, почему. Дело в том, что Вы не первая русская, которую я встречаю в своей жизни. Должен Вам признаться, и надеюсь, Вы поймете мои чувства, что во время войны я воевал, я был в люфтваффе, в военной авиации, офицер, майор, летал на Восточном фронте. Я мог бы сказать, что бомбил Англию или летал где-нибудь в Африке, но мне кажется, настало время нам, немцам и русским, быть честными друг с другом. Я очень жалею о тех годах, поверьте, если можете, в мою искренность. Я был убежден, что делаю правое дело. И лишь потом, когда наступила катастрофа, я осознал, что мы были охвачены безумием. Да, это был какой-то всеобщий гипноз. Я не пытаюсь оправдать себя и свое поколение, участвовавшее в войне. Чувство вины осталось. И я особенно ощущаю его сейчас, видя перед собой молодую москвичку, которая говорит на моем родном языке».

Он замолчал и задумался. Чай был выпит, завтрак съеден. «Скоро моя остановка, – сказал бывший майор люфтваффе. – Поверьте, эта встреча была для меня приятнейшим сюрпризом: что мы можем вот так сидеть и разговаривать, более не питая друг к другу злых чувств. Желаю вам хороших впечатлений от Германии». Он встал, высокий, с не утраченной офицерской выправкой. Я улыбнулась на прощанье, испытывая двойственное чувство: он явно был искренне взволнован, но все же он летал на Восточном фронте...

Впрочем, ведь и Генрих Бёлль, к примеру, никогда не скрывал, что воевал, в том числе на востоке. И это делало его чувство вины еще более глубоким. То же могли сказать о себе многие из тех, чье творчество я так ценила, – к примеру, мой любимый автор Альфред Андерш (правда, на Восточном фронте он не был, а сдался американцам в Италии)...

...Некоторое время назад я прочитала в журнале «Шпигель» очень любопытный материал. Речь шла о двух людях, которые, уже будучи весьма не юными, обнаружили, что они сын и отец. Младшему было тогда лет сорок, старшему около восьмидесяти. С одной стороны, не такая уж частая история, с другой – дело житейское, чего только на свете не бывает.

Как они обо всем узнали? Когда младшему было годков двадцать, до него стали доноситься слухи. И они становились все громче и настойчивей. Но он их не слышал, потому что не хотел слушать. И никто вокруг него тоже не хотел. Думали, что слухи рассосутся, если их игнорировать. Но они не исчезали.

К тому же молодой человек становился все более похож на своего отца, которого знал только по фотографиям. «И чем решительнее все пытались замолчать правду, тем отчетливее и яснее она становилась», – пишет «Шпигель». Чем активнее все сопротивлялись правде, тем настойчивее она стучалась и рвалась в окна и двери.

Почему же эта история так занимала окружающих? Дело в именах ее участников. Младшего зовут Якоб Аугштайн. Едва ли это имя хоть что-то скажет сегодняшнему российскому читателю. Но для немцев это важное имя. Якоб в то время – совладелец и колумнист (т. е. постоянный обозреватель) «Шпигеля» – на мой взгляд, лучшего журнала в мире.

Чуть-чуть отвлекусь. Когда-то упоминавшийся уже писатель Уве Йонзон написал роман «Догадки о Якобе». Разумеется, речь шла о некоем вымышленном персонаже по имени Якоб и о совсем других материях – о том, каково немцу между двумя Германиями. Но я вспомнила это название, потому что вокруг Якоба Аугштайна тоже кипели «догадки».

Однако дело, конечно, не в этом. Человек, в семье которого вырос Якоб и чью фамилию он носит, – Рудольф Аугштайн. Великий журналист XX века! Это он создал и много лет редактировал замечательный журнал «Шпигель». Он был смелый публицист и главный редактор. О нем я тоже написала. Это он в 50-е годы отважно вступил в схватку с одним из самых могущественных политиков ФРГ – тогдашним министром обороны Францем Йозефом Штраусом –

и выстоял, не сдал позиции, не уступил мощному натиску и одержал победу. На стороне Аугштайна были все выдающиеся демократы и антифашисты – писатели, журналисты, политики.

Имя человека, который оказался родным отцом Якоба, тоже многое говорит немцам. С 50-х годов у него в ФРГ большая читательская аудитория. Он известный писатель. И зовут его Мартин Вальзер. Он автор талантливых и ярких произведений, в том числе политической антифашистской пьесы «Черный лебедь» и пронзительного эссе «Наш Освенцим». В Советском Союзе в свое время выходили некоторые из его сочинений, например, прелестная повесть «На полном скаку».

Два таких «сверхотца», как называет их «Шпигель». Можно, считает журнал, и загордиться, и «сломаться» под такой «тяжестью». Ничего этого, слава богу, не случилось, и отец с сыном встретились. Произошло это в одном из мюнхенских отелей. Сын сидел в холле и ждал. Отец спускался по лестнице. Сын подумал: «Какой он высокий!» Отец подумал: «Как он похож на меня!» С тех пор они стали регулярно встречаться и вместе написали книгу, содержащую их беседы на разные темы.

Эта книга интересна сама по себе. Якоб говорит об «освобождающем воздействии правды». Их книга, по мнению «Шпигеля», это «громкий публичный прорыв» к свободе. Попытка сына рассказать собственную историю, не скрывая чувства стыда и обиды. Это «дружественный, но недвусмысленный протест против лживого, равнодушного, скрытного и склонного к замалчиванию мира родителей». Отец же пытается оправдаться, рассказывая о своей жизни. В общем, это еще и его автобиография. Хотя он всегда утверждал, что ни в коем случае не хочет писать автобиографических сочинений, потому что сам жанр располагает к «дипломатии и лжи», а этого он ни в коем случае не желал. А кроме того, в каждой из его книг содержатся автобиографические мотивы...

Познакомившись, герои этой истории узнали друг о друге много интересного. Сын, например, выяснил, что у него, помимо одной, «привычной», сестры, имеются еще четыре. Все они отнеслись к брату «очень ласково». Аугштайн-младший резюмирует: «Правда приносит чувство свободы. Правда очень благодатна. Эта свобода, это доброе перевешивает все остальное». Он говорит, что для него это было «большое приобретение».

А теперь немного о том, почему я так заинтересовалась этой историей. Все очень просто: двоих из трех участников этой счастливо завершившейся психодрамы (если, конечно, ее можно так назвать) я знала лично.

С Мартином Вальзером я встречалась не раз, брала интервью, беседовала «за жизнь» и в Москве, и в Мюнхене. Поскольку память – штука прихотливая, она вытаскивает на поверхность не только важные, но и смешные, и малозначащие эпизоды. Помню, как во время одной из встреч в ФРГ я подарила ему маленький самоварчик – точное подобие того, каким пользовался в Ясной Поляне Лев Толстой. Я ожидала, что он будет в восторге (ведь это был сам Лев Толстой!), а он отнесся к сувениру с полнейшим равнодушием. Еще хорошо помню, как впервые посетила его в московской гостинице «Пекин», где в ту пору Союз писателей СССР всегда размещал своих иностранных гостей. Вальзер произвел на меня впечатление – он был интересный собеседник. Потом, в другой раз, он побывал у меня дома, на Ломоносовском проспекте.

Я тогда работала в «Литературной газете». Пригласив его, я спросила, что он любит есть (хотя в те годы в московских магазинах было больше пустых, чем полных прилавков). Он сказал, что ест все, «кроме внутренностей», т. е. всяческих печенок, почек и пр. Еще раз прошу прощения у читателя: когда вспоминаешь, в голову лезет всякая требуха (нечаянный каламбур).

Разумеется, говорили мы не только о ерунде, но и об очень важном: о «непреодоленном прошлом», о том, способна ли литература помочь в его преодолении, о том, что для него главное в культуре и в истории...

Что касается Рудольфа Аугштайна, то с ним я общалась, к сожалению, только один раз. Но это была очень важная для меня встреча. О ней я коротко написала – это было в 1967 году.

А теперь о главном: что заставило меня попытаться пересказать историю из «Шпигеля». В книге моих героев заходит речь о родителях Вальзера. Выясняется, что у него был «мечтательный» отец, поклонник муз и вдохновенья, пианист и несостоявшийся поэт. Зато мать была «усердная, трудолюбивая и энергичная». У нее была гостиница, и она уже в 1932 году вступила в НСДАП – партию Гитлера, чтобы «обезопасить» свое предприятие, свой бизнес (по современному). С этого все и начинается. «Смесь из страха, осторожности и заглядывающей вперед умности» подвигла ее вступить в ряды нацистов.

И тут возникает вопрос: ответственны ли дети и внуки за своих родителей, дедушек и бабушек? Сын за отца не отвечает, утверждал один печально известный исторический деятель. А отвечает ли отец за сына? И отвечает ли, к примеру, внук за бабушку, которой вообще никогда не видел? Конечно же нет. В книге внук, Якоб Аугштайн, говорит, что, глядя из сегодняшнего дня, он «был бы счастливее, если бы собственная бабушка была в Сопротивлении». Но откуда бабушке было знать, как все обернется? Она же хотела как лучше. Ей надо было спасти свою гостиницу, харчевню при гостинице и прочее – верно ведь? Чтобы все это спасти и упрочить свое положение и тем самым позаботиться о детях и внуках, надо было принять главное решение: присоединиться к тем, на чьей стороне сила. Тем более что в 1932 году было ясно, что скоро и власть будет на стороне этой силы.

Кто же упрекнет эту практичную женщину? Кто упрекнет миллионы таких практичных женщин – и мужчин – за то, что они быстренько примкнули к силе и власти – ведь они хотели как лучше. Они думали о своих детях и внуках, об их будущем. О своих гостиницах и харчевнях. Разве они тогда предполагали, что окажутся у разбитого корыта? Все так прекрасно складывалось!

Кто видел фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» или просто кадры немецкой кинохроники 30-х годов, тот вспомнит эти радостно вскинутые вверх руки, эти улыбки обожания при виде проезжающего по улицам вождя. Устоять было очень трудно.

Давно известно, что, столкнувшись с силой и властью, обыватель, этот «простой человек», всегда будет на ее стороне, не вникая в ее намерения и ограждая свой покой, свои небольшие блага, свои скромные привилегии. Ему всегда будет казаться, что угождая власти и силе, демонстрируя свою преданность, он избежит занесенной над его головой дубины, которая, в случае его полнейшей лояльности, со всей мощью обрушится на кого-то другого – может, недавнего друга, соседа или коллеги.

Об этом замечательно написано в пьесе-притче Макса Фриша «Бидерман и поджигатели». Эта старая пьеса, нынче уже почти забытая, толковалась как произведение, направленное против «поджигателей войны». Конечно, этот мотив в ней присутствовал. Однако мудрый и тонкий сочинитель писал не столько об этом, сколько о вечной податливости обывателя, «бидермана», бравого гражданина без затей.

Возвращаясь к нашей истории. В книге Вальзер говорит: «Моя мать не была национал-социалисткой. Ей просто надо было вести свое дело». В этом, извините за еще один нечаянный каламбур, все дело. Чтобы спасти свое хозяйство и имущество, присоединяйтесь к власти? А каково потом будет внукам? А с другой стороны, если не присоединишься, внуков может вовсе не быть. Подходим к вечному вопросу о выборе. О вине и ответственности, о повинении и свободе. Подобно матери Вальзера поступали миллионы других матерей. И не только в Германии. Они хотели как лучше.

Вот и выясняет молодой человек, что бабушка была членом партии, на счету которой неслыханные преступления. Родители Рудольфа Аугштайна, в семье которого вырос Якоб, находились «на большой дистанции» от гитлеровского режима.

Вальзер категорически возражает, чтобы применительно к его матери шла речь о вине. Младший Аугштайн, впрочем, и не думает никого обвинять – ведь все это «такие реалистические картины нашей истории», и ему нетрудно это понять! А куда денешься? Ведь действительно Соппротивление – удел немногих героев. Не надо только быть первым учеником?

Все эти вопросы возникают снова и снова. Кто знает правильные ответы? Ни Сартр, ни Камю, ни Бёлль, ни Грасс даже не пытались дать однозначные ответы. Но, к примеру, нобелевский лауреат Генрих Бёлль всю жизнь писал о том, как невыразимо терзается чувством вины. А ведь он вовсе не по своей воле оказался на войне, не по своей воле был на восточном фронте. Вина, ответственность, свободный выбор – все эти проблемы вставали после крушения третьего рейха перед людьми, обсуждались в прессе, в литературе.

Философ Ханна Арендт задавалась вопросом: как относиться к народу, у которого «линия, отделяющая преступников от нормальных людей», так размыта? Она считала, что главная проблема – утраченная способность к ответственности. «Ведь я ничего такого не сделал» – вот был основной аргумент для самооправдания. Ведь и в самом деле – они только выполняли приказы. А с каких это пор выполнение приказов является преступлением? «Никогда немцы такого не делали!» – возмущался юный военнопленный Гюнтер Грасс, когда ему и его товарищам, воспитанным нацистской пропагандой, показывали в 1945 году фотографии из лагерей уничтожения.

Конечно, будет справедливо, если мне возразят: какое все это имеет отношение к той бабушке, которая всего лишь вступила в НСДАП, чтобы уберечь свою гостиницу? Не имеет. Или все же имеет? Ведь миллионы поступали так же. Просто не все оказались вовлеченными в преступления. Но «вовлеченные» вербовались из той же благодатной среды. «Организационный гений Гимmlера», писала Ханна Арендт, раскрылся в умении мобилизовать «отца семейства», это воплощение добродушия и отеческой заботы, на выполнение самых чудовищных дел, которые знала история. А уж каким воплощением добродушия являются заботливые бабушки!

В книге Вальзер говорит, что если он сумеет объяснить, почему его мать вступила в нацистскую партию, то он тем самым объяснит, почему Германия вступила в нацистскую партию. Собеседник из «Шпигеля» возражает: не вся Германия вступила в нацистскую партию «из-за деловой разумности, соединенной с отсутствием убеждений». Но Вальзер стоит на своем: «Германия стала жертвой Гитлера по экономическим причинам. Никаких других причин не было». Версальский договор (поставивший проигравшую в Первой мировой войне Германию в трудное экономическое положение) и инфляция. «Чем хуже шли дела, тем могущественнее становился Гитлер». Между писателем и его собеседником разгорелся спор, журналист считает, что Германия вовсе не стала «жертвой Гитлера»: это был сознательный и активный выбор немцев. А Вальзер уверен, что если так интерпретировать события, то получится, что «Германия стала нацистской по собственной политической воле. А это не так». Разве?

Журналист из «Шпигеля» возражает: например, антисемитизм стал мощной силой, спусковым крючком ненависти и предрассудков. И Гитлер использовал его для своего усиления и укрепления. Но Вальзер не согласен: не антисемитизм был решающей причиной успеха Гитлера, а «экономическая нужда». Якоб Аугштайн вмешивается: нацизм не объяснить одной причиной. Главное в том, что в Германии отсутствовала демократия – и в смысле культуры, и в смысле традиции ...

Возникает тема войны. Сын не в состоянии понять, как мог отец пойти добровольцем. Ведь он «видел разрушения», «должен был испытывать страх». Для него, Аугштайна, это «абсолютно непостижимо». Как же так, ты видел, что происходит, и все же пошел добровольцем. И тут сегодняшний Вальзер бросается на защиту Вальзера тогдашнего: Гитлер, втянув нас в войну, добился того, что вся его мерзкая политика исчезала «перед лицом той беды, в которой оказалось отечество». А Вальзер чувствовал себя «единым целым» с тем отечеством

и каждого, кто не хотел сражаться, считал «трусом». Сын возражает, он смотрит на это по-другому, а отец распаляется и утверждает, что у сына, выходит, «нет отечества».

И тут мы наблюдаем в чистом виде попытку самооправдания. И оправдания тех, кто добровольно включался в осуществление гитлеровских планов. Иначе это интерпретировать невозможно. Особенно, если вспомнить, к примеру, коллегу Вальзера Генриха Бёлля, который никогда не занимался самооправданием и возмущался, когда это делали другие. К тому же Бёлль оказался на войне отнюдь не добровольно. Он делал все, чтобы любыми способами уйти, не участвовать, быть, как один его герой, в «самовольной отлучке». А другой коллега по имени Альфред Андерш, который тоже отнюдь не по своей воле оказался в вермахте, воспользовался первой же возможностью, чтобы сдать в плен – на итальянском фронте. Вот его вывод: бывают обстоятельства, когда единственным выходом становится дезертирство.

Сегодняшний Вальзер, как замечает «Шпигель», не испытывает никаких разногласий с самим собой и своими воспоминаниями, не сомневается в их правдивости и своей правоте! Что же, как говорится, бог в помощь...

Когда-то, не скрою, я любила многие произведения Вальзера, писала о нем, посвятила ему главу в своей диссертации. Его повесть «На полном скаку» вообще казалась мне написанной про меня. Ну, как у Флобера: Эмма Бовари – это я. Он, видимо, разгадал мой характер и на одной из подаренных мне книг сделал надпись примерно в таком духе: «Ирине, которой наполовину смешно, наполовину страшно».

Мое в высшей степени приятное отношение к нему как к литератору стало меняться – не в лучшую сторону – где-то на рубеже 80-90-х годов, когда он стал выступать в столь уважаемой мною газете «Цайт» и других изданиях с совершенно непривычными, по сравнению с прошлым, статьями, в которых его взгляд на Германию, ее недавнюю историю, проблемы вины и ответственности оказался в разительном противоречии с тем, что он писал прежде. Точкой отсчета я считаю его известную пьесу «Черный лебедь». Это одно из самых замечательных произведений на тему вины немцев за совершенные в годы нацизма преступления.

Но когда он стал заявлять, уже в 90-е годы, что хватит вспоминать об Освенциме, я была поражена. Ведь именно он больше других, и вполне искренне, писал, что Освенцим будет тяжелым ярмом висеть на совести многих поколений немцев – хотя бы за то, что они это допустили. Я уже упоминала его эссе «Наш Освенцим».

Метаморфоза не из приятных. Бывает, люди меняются, иногда меняются таким образом. И это грустно. Разумеется, я не собираюсь никого поучать, такой самонадеянности у меня нет и в помине. Я просто рассказываю историю, которая показалась мне интересной и требующей раздумий. Впрочем, История всегда к этому располагает.

Зачем, я написала все это? Смысл исторических событий становится более наглядным, когда раскрывается на социопсихологическом и культурологическом фоне, в контексте развития литературы и искусства. Мне хотелось представить опасные повороты немецкой истории минувшего столетия в эстетическом преломлении – глазами немецких писателей, творчество которых воспринималось как предостережение (которому никто не внял), как напоминание о роковой опасности идей расового превосходства, шовинизма, насилия и экспансии. После краха нацистского рейха литература и искусство во многом помогли немцам осознать механизмы, превращающие «нормального» человека сначала в «попутчика», а затем в соучастника кровавых преступлений.

Один из важнейших уроков немецкой истории XX века виделся мне в том, что силы национализма, стремящиеся к тоталитарной власти, должны быть остановлены прежде, чем до этой власти дорвутся. Немецкая история четко давала понять, что демократия обязана быть сильной, чтобы противостоять попыткам использования прав и свобод для подрыва и уничтожения самой демократии. Веймарские немцы поняли это слишком поздно и заплатили за это слишком большую цену. Для литературы ФРГ это стало одной из главных тем.

До и после крушения Третьего рейха

У Генриха Бёлля, пожалуй, самого известного (наряду с Гюнтером Грассом) писателя ФРГ, есть два рассказа: «Когда война началась» и «Когда война кончилась» (1962). В одном молодые немцы отправляются воевать, в другом – возвращаются (кто уцелел) после проигранной войны на родину. Между двумя этими рассказами уместилась вся кровавая история Второй мировой войны, развязанной Гитлером, гибель десятков миллионов людей по обе стороны фронта. Больше всех пострадал от кровавого и злодейского нашествия Советский Союз: гибель миллионов в ходе военных действий и среди мирного населения, страдания, голод, раненые, инвалиды, осиротевшие дети. Список можно продолжать бесконечно, об этом написаны сотни художественных и документальных произведений, сняты фильмы...

Но здесь речь пойдет о Германии, о том, как она, причинив неисчислимые беды другим народам, сама оказалась в катастрофическом положении. О том, как она выходила, выползала, вырывалась из тисков пережитой трагедии, и какую роль в этих попытках «рассчитаться с прошлым», осознать, преодолеть его сыграли немецкие писатели.

Итак, «тотальная война», к которой 18 февраля 1943 года в Берлинском дворце спорта призывал имперский министр просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс, пытаясь магическими формулами заморозить и загипнотизировать публику, ответившую ему ревом одобрения, кончилась тотальным поражением. Наступил, фигурально выражаясь, «час нуль», о котором кто только не говорил и не писал в те первые послевоенные мгновения, часы, месяцы и годы. Рухнул прежний порядок, замешанный на мифах о превосходстве германской расы и необходимости завоевать новое «жизненное пространство», настал момент «гибели богов», когда недавние кумиры и образцы для подражания свалились со своих пьедесталов, превратившись в исторический мусор, пыль, ничто. Любовь к фюреру, восхищение им перерастали в ненависть к диктатору, соблазнившему и обманувшему целые поколения. Тут, правда, сразу же возникает вопрос: почему миллионы послушно выстроились в ряды и, судя по всему, охотно дали себя соблазнить? Это один из главных вопросов. Но сначала немного о том, как выглядел сам конец рейха и что ему предшествовало, в том числе еще до начала устроенной нацизмом всемирной бойни. Ясно только одно: «гибель богов» накладывала колоссальный отпечаток на психологическое состояние граждан сгинувшего рейха, в том числе молодежи, которая ощущала «утрату идентичности» и перед лицом «нулевого часа» во всех его ужасных проявлениях воспринимала себя как потерянное поколение. Впрочем, одно «потерянное поколение» мировая литература уже запечатлела: это было поколение западной молодежи, возвращавшейся с полей Первой мировой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.